



"Ночные летописи"

Геннадия

Доброва

Книга вторая

Геннадий Михайлович Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 2

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34495672

«Ночные летописи» Геннадия Доброва. В двух томах. Книга вторая:

ИПО «У Никитских ворот»; Москва; 2016

ISBN 978-5-00095-217-7

Аннотация

«Ночные летописи» записывались на диктофон народным художником России Геннадием Михайловичем Добровым в начале 2006 года. Почти полная слепота его продолжалась более полутора лет, но после нескольких операций зрение частично восстановилось. Это было за пять лет до кончины. А тогда, в отчаянные зимние ночи 2006-го, теряя надежду снова видеть окружающий мир, художник обретает новый дар – он начинает душевно и талантливо рассказывать о своей жизни. И эти воспоминания о далёком послевоенном детстве, об учёбе в Москве, о работе милиционером, санитаром, о поиске своих путей в искусстве – не могут не вызывать то горячего сочувствия, то грустной улыбки, но всегда – искреннюю симпатию к автору, к благородным порывам и мужественным поступкам этого незаурядного мастера с его удивительной судьбой. При работе

над книгой вдова художника сочла необходимым сохранить последовательность аудиофайлов с обозначением дат их записи.

Содержание

Глава 46	8
Глава 47	37
Глава 48	70
Глава 49	81
Глава 50	129
Конец ознакомительного фрагмента.	130

Геннадий Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 2

На внешней стороне обложки использован макет фотохудожника Давида Ямпольского.

Посмертный сайт художника: <http://gennady-dobrov.ru>

© Добров Г.М., наследники, 2016

© ИПО «У Никитских ворот». Оформление, 2016

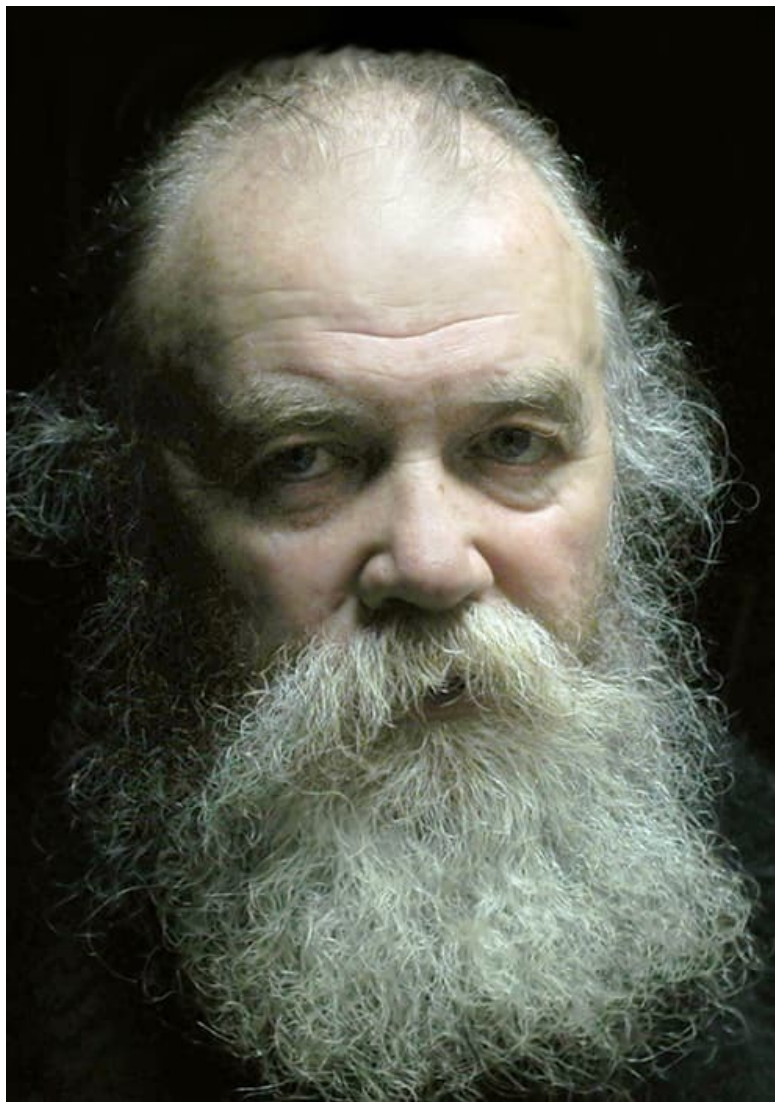
* * *

«Ночные летописи» появились благодаря самым трагическим обстоятельствам в жизни художника. К началу 2006 года он практически ослеп. Это стало следствием и диабета, и гипертонии, и нескольких тяжёлых поездок в Афганистан... Он потерял возможность работать на холсте, рисовать на бумаге, писать ручкой, самостоятельно передвигаться по улице. Это было невыносимо мучительно для его деятельной натуры. К тому же наша мастерская на Таганке, где мы жили, не отапливалась уже несколько лет, и согреться приходилось печками и грелками.

И тогда пришла мысль о записи воспоминаний на диктофон. Был куплен цифровой диктофон, освоено управление... включение-выключение. Записи проходили в морозном январе-феврале по ночам, в полной тишине, темноте и одиночестве. Художник лежал, обложенный грелками, бутылками с горячей водой, укрытый одеялами и шубами. Он был наедине со своими дорогими воспоминаниями... Рассказывая, он переживал и плакал, иногда смеялся, иногда, вспоминая что-то, напевал... После каждого такого ночного сеанса давление у него зашкаливало.

Он сам назвал эту работу «Ночные летописи». Общая их продолжительность 163 часа – это повесть обо всей его жизни. Расшифровывая эти записи уже после ухода художника, я снова слышала родной голос, проникалась его мыслями и чувствами. Он по-прежнему был рядом...

Людмила Доброва



Глава 46

29 января 2006 г.

Прибытие на Валаам. Мерзость запустения. Саша Подосёнов. Виктор Попков. Александр Амбаров. Серафима Комиссарова. Лечение муравьиной кучей.

Долго ли, коротко – наступило тёплое время, и я поехал в Ленинград. Приехал. Добрался до речного вокзала, взял билет.

Но я уже заранее знал, что на Валааме оставаться нельзя, и, чтобы не вызывать подозрения, я взял билет туда и обратно. Ладожское озеро в это время года казалось очень тихим. Плыли мы прямым курсом на остров Валаам целый день, вечер и ночь. Только рано утром я проснулся и увидел, что теплоход подходит к Валааму. В окне виднелись уже огромные камни, вода была в крутые берега, на которых стояли леса с высокими елями и кое-где деревянные церквушки. Впоследствии я узнал, что это были монашеские церкви, они назывались скиты. До революции там жили монахи, а в наше время они пустовали.

Сам остров до революции назывался Святой. Петербург тогда являлся столицей, и на Валааме находился самый близкий к Петербургу монастырь, который был расположен в очень красивом и удобном месте. Во-первых, это недалеко от

Петербурга, во-вторых, сам остров на большие расстояния со всех сторон окружала вода, что делало его изолированным. Все монастыри имели разряды – первый, второй, третий. А этот монастырь имел статус сверхразрядного, он значился чуть ли не семейной царской резиденцией, туда приезжали императоры, их жёны, братья, сёстры, дочери – и все делали этому монастырю пожертвования или в честь посещения монастыря дарили иконы и устанавливали памятные часовни.

Но это было раньше. А когда я туда прибыл, то, конечно, всё там выглядело по-другому. Ещё в революцию остров перешёл к финнам на двадцать лет, а когда его вернули во время финской войны, то монахи собрали дорожную утварь, убранство и уехали в Финляндию. Там они организовали Новый Валаамский мужской монастырь. То, что я увидел здесь, имело жалкий вид. Причём внешние следы величия кое-где сохранились, но внутри соборов предстала просто страшная картина. Иконостасы были ободраны, на полу валялись кирпичи, через разбитые окна залетали и гадили голуби, двери с изображениями больших крестов валялись в высокой траве, которая уже покрывала широкие ступени у входа. Иногда сюда наведывались огромные лоси, они щипали траву, поднимались по этим ступеням и заходили прямо внутрь храма.

Но сами стены строились когда-то настолько крепко, что простояли уже не одно столетие. А в конце XX века и в России изменилось отношение государства к религии, стали

возрождаться христианские идеи, восстанавливались монастыри и церкви. Но это всё было уже потом.



Мерзость разорения

А когда я приехал туда в 74 году, то я застал, как говорится, мерзость запустения. От центрального монастыря че-

рез весь остров к противоположному берегу шла дорога. И вдоль неё на левой стороне расположилось большое кладбище. Стояли удивительные часовни, возвышались кресты из розового мрамора, из красного, из чёрного, из белого мрамора, а на дороге валялся длинный холст, на котором изображалось распятие с ликом Христа. Куда-то его тащили, бедного Христа, и бросили посреди дороги. Тут дождь лил, ветер его трепал, он весь извивался, этот холст, – так там обращались с последними остатками христианского убранства. И это ужасало. Но я приехал смотреть не на это, хотя и не видеть этого было невозможно. Я хотел поскорее увидеть инвалидов войны.

Пришёл в дирекцию. А от Союза художников мне дали просьбу к директору дома-интерната, чтобы он меня приютил – дал место для ночлега и обеспечил питанием в столовой. И меня поселили в бывшей келье. Директор Иван Иванович Королёв прошёл со мной по комнатам и коридорам монастырской гостиницы, в которой жили инвалиды, на первом, втором и третьем этажах. Но инвалиды ещё жили в так называемом Никольском скиту, который находился на небольшом острове. Там стояла высокая церковь с золотым куполом, которая была видна и со стороны Сортавала, и со стороны Финляндии, и когда оттуда шли корабли, то они держали курс вот на этот золотистый однокупольный храм. На Никольском скиту стояла маленькая гостиница, там тоже жили инвалиды, но психически больные. Весь этот неболь-

шой остров был скалистый и лесистый, через небольшой пролив к нему вели мостки с перилами, по которым ходили люди.

В самой Монастырской бухте тоже стоял огромный собор, а по всему острову Валаам были разбросаны отдельные часовни, которые когда-то ставили в честь посещения монастыря царскими особами, там выбивались целые стелы с надписями, что это место тогда-то посетил тот-то, молился тут и пр. В общем, это были места изумительной красоты, тишины и благодати, если бы не эти инвалиды войны.

А что такое инвалиды войны? Это люди, которые после войны остались без жилья, без семьи, без денег... без рук, без ног, без глаз – у всех были свои увечья. Первое время они нищенствовали, бродили по улицам, наводняли рынки, вокзалы, пристани, в общем, те места, где им кто-то что-то мог подать.



Фото с Валаама. 1974 год

Потом вышло постановление – собрать всех инвалидов и создать им условия для коллективного проживания в определённых местах. Вот для севера и северо-запада выбрали остров Валаам, Валаамский монастырь, туда после войны отправили полторы тысячи инвалидов. Создали им условия, наладили питание, пригласили туда обслуживающий персонал. Всё это делалось ещё при Сталине. Работали там и врачи, и медсёстры, и повара, и сапожники. По вечерам играла музыка, устраивали даже танцы на танцплощадке. Но это вначале.

Когда же я приехал – на танцплощадке уже никто не танцевал. Многие инвалиды войны умерли (они ведь недолго живут), кто-то уехал, кто-то женился или вышли замуж (среди инвалидов находились и женщины). И оставались люди, которым вообще некуда было деться. Если они и пытались куда-то переехать, то обычно не уживались на новом месте и возвращались обратно, они убедились в том, что нигде в другом месте им уже лучше не будет.

Я сразу пошёл рисовать. Пришёл в первую большую палату, которую мне показал директор. Иду по палате, с двух сторон стоят койки, проход, опять койки. С правой стороны расположены окна, дальше глухая стена, а тут двери. И лежат эти инвалиды. Тишина, тихо. А за окном – лето в разгаре (начало июня). Окна открыты, сирень цветёт, солнце пробива-

ется. Я иду, иду, до конца почти дошёл. Вижу – сидит в кровати молодой мужчина, совсем-совсем молодой. Он опёрся на столик, который перед ним, подушки тут у него. А голова – я смотрю – пробита пулей навывлет. И не то что маленькое какое-то отверстие, а как бы насквозь пробит череп, то есть зияли две дыры, затянутые кожей. И с этими двумя отверстиями на самом видном месте он жил.

Звали его Саша Подосёнов. Вскоре пришла какая-то женщина и села рядом. Это оказалась его мать, которая приехала из Сортавала на «омике» (это маленький пароходик), она жила там недалеко в деревне. Я спросил Сашу: можно я тебя дня три порисую? – Он отвечает: пожалуйста, рисуйте, я всё равно никуда не тороплюсь. Я вот так сижу целый день, а потом меня мать укладывает на подушку, и я ночь сплю. А днём опять сижу. (Я поставил планшет и начал его рисовать, это был мой первый портрет инвалида войны.)



Ранен при защите СССР

В общем, это всё люди были как бы местные. Не то что они родились прямо там, в Сортавала, нет, но раньше они жили в каких-то окрестных сёлах и деревнях. Оттуда их призвали в армию, в этих местах они воевали, здесь же их и контузило. Где-то в соседних деревнях, может, у них даже жили родственники, которые по каким-то причинам не смогли их взять к себе. И теперь они доживали свой век на своей малой родине вот в этих палатах. И то, что эти места являлись для них родными, ещё больше как бы успокаивало их, потому что когда человек живёт с этим удивительным чувством, он совершенно ничего другого не хочет. Эти люди никуда не стремились, в них чувствовалось какое-то спокойствие, которое невольно передавалось и мне, я проникался их состоянием.

Так началась моя регулярная работа над портретами инвалидов в доме-интернате на острове Валаам. Работал я медленно, приходилось тщательно продумывать каждую часть рисунка, потому что мягкий карандаш не допускал изменений. Приходил в палату утром, рисовал. Потом шёл обедать, столовая находилась тут же рядом. Некоторым инвалидам тихие, спокойные санитарки приносили обед в палату, а кто мог ходить – сам ходил в столовую. Готовили очень хорошо, может быть, ещё и потому, что на изолированном острове не было необходимости что-то воровать, тащить. Санитарки

жили в двух этажном здании, таком каре, посередине которого стоял огромный собор. В этом же здании на первых этажах жили и семейные инвалиды, возле дома бегали их дети, а сами они часто выходили посидеть на лавочку.

Надо сказать, что вся плодородная почва на этом острове была привозная. В природе это камни, слегка покрытые мхом и песком. И всё. Ничего на этих камнях, кроме деревьев и травы, не растёт. Но за многие века, пока существовал монастырь, им руководили очень дальновидные настоятели (Иоанн Дамаскин, например), и они требовали не только служения Господу, не только стояния на молитве, но ещё и постоянной работы. И эта работа сводилась к тому, чтобы укреплять монастырь, улучшать его, украшать, прорывать каналы. Поперёк острова было прорыто несколько каналов, по которым могли проплывать лодки. В случае нападения на остров (допустим, шведов) по этим каналам продвигались защитники, потом неожиданно из леса выступало целое войско, которое сжигало вражеские корабли и укрывалось обратно. Вода в этих достаточно глубоких и широких каналах текла очень чистая.

Весь остров пересекало множество песчаных дорог, и примерно на одинаковых расстояниях по всему острову стояли скиты, которые назывались Белый скит, Жёлтый скит, Красный скит, Розовый скит. Небольшие побелённые церкви окружались крепостной стеной, в которой располагались часовни и кельи для монахов. Когда-то монахи с материка

привозили в мешках землю и разводили свои огороды. И вот сколько же нужно было привезти этой земли, чтобы покрыть необходимое пространство – разбить там и пашни для посева, и пастбища для коров, и всевозможные фруктовые сады. (Я видел огороженный сад с большими яблонями, но не ходил туда.) Так что инвалидам доставалась и рыба из озера, и яблоки, и ягода, и молоко, и масло – всё это было здесь своё.



Банный день

Имелась там и котельная. А в этой котельной на первом

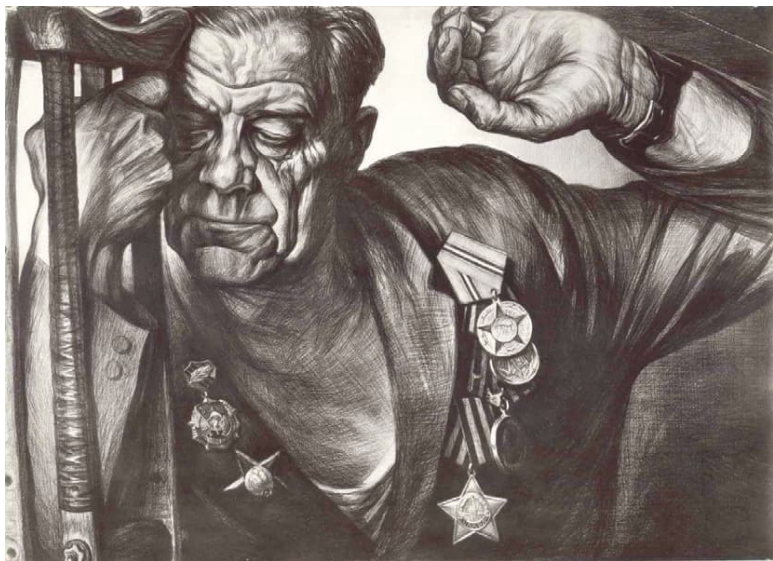
этаже находилась баня. Свежая вода в эту баню подавалась прямо из монастырской бухты по водопроводу, который работал от насосной станции. И в первую же неделю я пошёл в эту баню. В один день, но в разное время, баня работала для женщин и для мужчин – женщины выходили, а мужчины входили. Когда я вошёл, то первое, что меня поразило, – как сидели инвалиды и мыли свои костыли. Намывивали их, а потом оттирали мочалкой от пота и грязи. И они так старались, будто это были их собственные ноги. Потом обливали их из тазика, ополаскивали. А когда инвалиды друг друга мыли, спины тёрли друг другу (и один без ног, и другой с одной ногой) – это незабываемая картина, удивительным было такое их братство. Я никогда там не слышал о ссорах и драках между инвалидами войны.

Но ко времени моего пребывания на второй и на третий этаж гостиницы уже стали привозить совсем других инвалидов – из тюрем и колоний, они только внешне походили на инвалидов войны (не было, например, у кого-то одной ноги или обеих). Но вели себя они совсем по-другому – могли требовать, скандалить, стучать кулаками и костылями, доказывая свою правоту. Или писали о своих требованиях в министерство в Москву и просили приезжих отправить их письма с материка.

Инвалиды же войны ничего не требовали, ничего не просили, никуда не писали, их всё устраивало. Около их кроватей стояли тумбочки, и на них лежали (или висели на спин-

ке кровати на привязанной простыни) ордена и медали. Я их как-то спросил: а у вас какие-то шкафы тут есть для вещей? Они удивились: какие вещи? Вот эти ордена нам дали за то, что мы воевали и победили, они и есть наши вещи, и нам другого ничего не нужно, остальное всё нам дают. (Тюремщики, конечно, орденов не имели, но у них была мощная жизненная хватка, они даже разрушали семьи инвалидов войны.)

Такой случай там произошёл, когда я рисовал инвалида войны Виктора Попкова, я работал у него дома в монастырской гостинице. Он жил с женой, а дети их уже учились в Сортавале. И вот инвалид из тюрьмы с одной ногой, на протезе, с ремнём наискосок через всё тело, стал ухаживать за женой этого Виктора Попкова – нагло так, зная, что она жена, что муж тут, что муж тоже инвалид, просто, видимо, ему нужна была женщина.



Новой войны не хочу

А та поддалась. Может быть, Виктор был уже как-то не способен, я уж не знаю. Но факт тот, что жена его пропала (вот пока я его рисовал). И Виктор, бедный, очень переживал, видно, он любил свою жену, а она вот с этим уголовником убежала. И долго они отсутствовали. Пока я там жил, они всё не появлялись. Говорили, что где-то там их видели уже на материке, они на поезд куда-то садились. Но в конце концов они приехали обратно. Жена вернулась к этому Виктору, и он простил её.

Жара тем летом стояла там ужасная, просто пекло, хоро-

шо, что вода находилась вокруг, как-то немножечко всё это смягчалось. А так почти невозможно было работать – рубаха на теле становилась раскалённой, и как угли из печки, жгла кожу. Я, конечно, ходил нараспашку – грудь голая, рукава подвёрнутые, рубаха навывпуск – в таком виде я работал.

Рисовал я ещё одного инвалида, Александра Амбарова. Этот Амбаров тоже жил в отдельной комнате, не знаю, как он там жил, он был наполовину слепой. Я его спрашиваю: а почему у вас всё лицо изрыто какими-то оспами? А он говорит: это не оспы, это следы пороха от разрядов, которые рвались рядом со мной, около моего лица, дробины впились глубоко в кожу, их невозможно уже оттуда вытащить. (Они такими тёмными точками остались на его щеках, на лбу, на носу – везде.) Кроме того, лицо его покрывали многочисленные шрамы, и не было левого глаза. Но Амбаров казался очень весёлым и жизнерадостным.

Я спрашиваю: а почему вы всё время улыбаетесь? – Он отвечает: да как же мне не улыбаться, меня ведь четыре раза хотели похоронить под землёй. Вот было такое место Невская Дубровка, там проходила линия обороны Ленинграда, когда его взяли в кольцо. Мы, говорит, держали эту оборону, а немцы всё время нас обстреливали. И вот снаряд взрывается, и вверх сразу поднимается огромная куча земли. А потом всё оседает, и нас накрывает с головой. Мы начинаем откапываться, а командир по очереди всех окликает, кричит: Амбаров, ты живой? – Я, говорит, откапываюсь и кричу: жи-

вой! – Ну ладно, молодец.



Защитник Невской Дубровки

И так, говорит, четыре раза меня всего засыпало, из-под земли вылезал, как из могилы. Такие свирепые шли бои в этом узком месте обороны. Как они бомбили нас, как обстреливали, столько народу там погибло – не счесть. И всё-таки мы Дубровку эту отстояли, не пропустили немцев. Потому, говорит, я и довольный такой, что жив остался. (Неправильно думать, что у людей на фронте всегда были угрюмые, мрачные лица – нет, люди и шутили, и улыбались, и подкалывали друг друга анекдотами, всякими рассказами, шутками, прибаутками – это давало возможность отвлечься от тяжелой реальности, душу повеселить.) И у меня получился улыбочивый портрет этого Амбарова.

Сразу же во время моей работы выявилось одно негативное обстоятельство. Я делал рисунки большого размера, в натуральную величину лица или, может быть, даже немножко больше. А карандаши и бумага были не совсем то, что нужно. Бумага оказалась тонкой, а наши советские карандаши вообще не позволяли взять необходимую черноту, например, пиджака. И долго приходилось рисовать одно и то же место, чтобы набрать хотя бы относительную плотность на листе. В общем, я мучился.

Однажды мне рассказали про Серафиму Николаевну Комиссарову. Она была радисткой на фронте в Карелии, там же её ранило. Войска ушли вперёд, а она из-за ранения ока-

залась где-то в болоте. К утру это болото стало замерзать, и она уже не могла там даже пошевелиться, в общем, вмёрзла в лёд. Идущие следом части обнаружили её, достали из льда и привезли в медсанбат. Начали её там оттирать, массажировать, приводить в чувство, но дело кончилось тем, что у неё перестали слушаться ноги, она ими не могла управлять, они для неё стали просто обузой. Когда она попала на Валаам, ей выдали трёхколёсную тележку, на ней она могла двигаться, тормозить, делать повороты, а сзади к коляске был прикреплён железный ящик для инструментов, мелких вещей и продуктов.

Мы с Серафимой Николаевной познакомились, и я начал её рисовать. Поработали так несколько дней, а потом прихожу, смотрю – а у них в палате какое-то разорение, кругом валяются простыни, подушки, одеяла. Я спрашиваю: Серафима Николаевна, что случилось? – Она говорит: Гена, сегодня, наверно, рисовать не будем, сегодня банный день у нас, но наша нянечка не пришла, запила, и мы пока остаёмся немытыми. Все палаты уже помылись, и бельё им сменили, а мы, говорит, и немытые, и бельё нам никто не менял, и вот всё ждём. (И все женщины сидят тоже расстроенные на своих кроватях.)



Серафима Николаевна Комиссарова

А я уже так настроился рисовать, привык к этому рабочему режиму. И я спрашиваю: Серафима Николаевна, а я вам не могу помочь? – Она так смутилась: Гена, ну как ты нам поможешь? Ведь мы почти неподвижные женщины, нас же нужно и пересаживать, и везти в ванную, и привозить обратно, потом класть на кровать. Мы стесняемся. – Я говорю: Серафима Николаевна, есть две профессии, которых не нужно стесняться, – это врачи в больнице и художники, которые рисуют людей. Вы знаете, сколько прекрасных картин сделано даже с обнажёнными женщинами, и никто ничего плохого в этом не видит. – Она соглашается: тогда... если бы ты нам помог, было бы очень хорошо, потому что мы совершенно не знаем, когда придёт эта нянечка. А если она придёт поздно, то в ванной уже кончится вода, и мы опять останемся немытыми до следующей недели. – Я предлагаю: ну давайте, с вас и начнём, садитесь на свою коляску, и я вас отвезу в ванную. – Она говорит: хорошо, ты отвези нас в ванную, а в ванной там есть женщины, которые нас моют. А ты потом только привезёшь обратно.

Так мы и сделали. Серафиме Николаевне трудно было двигаться из-за своей тучности, но я всё-таки ей помог залезть на коляску и покатил её. Она впереди рулит одной рукой, чтобы не врезаться в стену. Мы сперва ехали по длинному коридору, я шёл сзади, толкал её коляску. А потом она

показывает – вот сюда, сюда, Гена, налево. Доехали. Завожу её в ванную, а там кафельный пол, душ, ванные стоят, и нянечки в халатах моют женщин по очереди. Серафима Николаевна говорит: ладно, подожди теперь в коридоре, пока меня помоют. Я подождал. Потом она кричит: Гена! Заходи. Я зашёл, она уже сидит на коляске – чистая, помытая, в свежем халате, полотенце у неё на голове. Поехали обратно. Потом другую женщину повёз. И так я всех этих женщин возил в ванную комнату, их там мыли, а я потом их обратно привозил. Они все были очень довольны, что их помыли. А я ещё успел в этот день порисовать Серафиму Николаевну.

Я её рисовал на коляске. Но позже, когда я приехал в Москву, на выставку я не стал подавать этот рисунок. Мне показалось... что-то не то, что-то не так. И потом, лет через десять, по просьбе журнала «XX век и мир» я ещё раз поехал рисовать Серафиму Николаевну, но уже в Петрозаводск. Это я расскажу потом.

Мы подружились с Серафимой Николаевной, она мне рассказывала о своей жизни. Она тоже недалеко тут родилась в какой-то деревне, здесь же воевала, получила увечье и попала в интернат. Она говорила, что после войны тут было очень много девчат, ребят – все молодые, и, конечно, все влюблялись. И у меня, говорит, тоже появился муж, инвалид войны. Он был с одной рукой, но этой одной рукой он мастерски умел управляться – и топором доски рубил, и столы, и стулья сколачивал для инвалидов, и тротуары делал. Дали нам ком-

натку, и так, говорит, мы с ним радостно жили, так дружно, такой хороший парень был. (Что-то потом произошло, и он умер.)



Старая фотография Серафимы Николаевны с мужем

Я рисую её, слушаю – она сидит, а позади неё, на стене у окна, висит на гвоздике венок из бумажных цветов. Я спрашиваю: Серафима Николаевна, а что это у вас за венок? – Она отвечает: Гена, это когда муж умер несколько лет назад, я заказала венок. А муж похоронен в Сортавале на городском кладбище, это, говорит, надо плыть через всё озеро да там

ещё километров семь идти по шоссе. А я же на тележке. Я, говорит, несколько раз просила директора помочь мне туда попасть, чтобы венок этот я могла повесить на могиле мужа, но всё бесполезно. Видно, говорит, он так и будет до моей смерти тут висеть. – Я предлагаю: Серафима Николаевна, а давайте мы с вами съездим на это кладбище. – Она обрадовалась: я даже не верю, даже не могу представить, что это возможно. Если бы это получилось, то это было бы для меня просто счастьем – больше мне не нужно ничего, только положить ему на могилу этот венок. – Я говорю: ну, пойду узнаю сейчас у директора.

Пошёл к директору, всё объяснил. Он говорит: туда так просто не пускают, это погранзона. Но тут у нас есть пограничник, сходи к нему. Если он тебе разрешит, то пожалуйста. Я пошёл к пограничнику. Тоже всё рассказал о Серафиме Николаевне – что она переживает, потому что пока венка нет, это ещё не могила. Он говорит: ну хорошо – даю разрешение и желаю удачи.

И вот утром я пришёл за ней, и мы так бодро поехали, я её покатил. Но с горы мне пришлось придерживать коляску, если бы я её отпустил, то она бы разбилась, там очень крутая дорога на пристань. В общем, приехали, народ там садится, и мы тоже – я закатил коляску на палубу. И поплыли.

В Сортавале я её так же выкатил, там деревянные мостки, всё шатается, трясётся, но ничего, выбрались. Выехали на хорошее асфальтированное шоссе, она показала, в какую

сторону ехать. Пошли – едем. Сортавала кончилась, начались поля, луга, дальше там озеро, потом лес пошёл – между деревьев тоже озеро блестит. Это огромное Ладожское озеро тянется до самого Ленинграда. Оно нас всю дорогу сопровождало – сначала по левую руку, а когда шли обратно, оно было с правой стороны. И вот мы едем, едем, я толкаю коляску, а она всё спрашивает: Гена, устал? – Ая отвечаю: да нет, Серафима Николаевна, ничего я не устал. И так мы почти не отдыхали.

Потом она говорит: вот сюда, Ген. Мы свернули направо. Дорога пошла песчаная, вскоре показалось кладбище. Подъехали мы к могиле её мужа, земля на ней вся потрескалась, верхняя глинистая корка высохла и как-то расступилась. Смотрю – стоит слегка покосившийся деревянный столбик с красной звёздочкой наверху. Я хотел поправить его немножко, но Серафима Николаевна говорит: Гена, иди посмотри кладбище, я хочу посидеть одна.

Я пошёл вдоль кладбища, она тут одна осталась – сидела, пригорюнившись, на коляске, смотрела на этот столбик, на эту могилку и вспоминала о своём муже. Так минут тридцать, наверно, прошло. Я обошёл, посмотрел другие могилки – почти на всех висели веночки. Потом вернулся. Серафима Николаевна говорит: ладно, Ген, повесь веночек, и поедem обратно. И мы так же выехали на шоссе, пошли к причалу. Обратный путь был уже более знакомый и лёгкий. Мы вернулись на свой остров, в общем, всё получилось хорошо.

Так мы с ней побывали на кладбище, и она простилась ещё раз со своим мужем. Я думаю, что больше уже никогда она на кладбище не ездила.

Среди инвалидов на острове постепенно распространился слух, что появился художник, который всем помогает – то в баню возит женщин, то в Сортавалу сопровождает. И вдруг один парень с парализованными ногами (но он молодой был, не похоже, что с фронта пришёл) останавливает меня и говорит: можно вас спросить? Я вот тоже на коляске, не ответёте ли вы меня в одно место?

Там за пристанью на каменистом откосе наверху растёт лес, и мне сказали, что в этом лесу есть большая муравьиная куча. А ко мне приезжала родственница из деревни, и она говорила, что существует поверье – если сесть на муравьиную кучу раздетым, посидеть и потерпеть, пока муравьи искусают до крови, – то ноги могут вылечить и начнут ходить. Но никто не хочет помочь мне добраться до этой муравьиной кучи. Может, вы мне поможете? – Я отвечаю: давайте съездим. У него коляска была такая же, как у Серафимы Николаевны. Поехали. Я так же толкал его коляску, а он мне показывал дорогу наверх. Когда дорога стала совсем крутая, то мне уже надо было тащить его на спине. Я говорю: обними меня сзади руками посильней, только не отпускай руки, чтобы не упасть. А я буду поддерживать твои неподвижные ноги.

И вот потащил его наверх. Ташу, а сам где хватаюсь за

ветки руками, где за корни, где как – в общем, с большим трудом я его туда затащил. Он говорит: теперь надо эту муравьиную кучу отыскать. Вот ищем. Он на мне сверху сидит, а я смотрю, где эта куча. Вдруг вижу под сосной – действительно, огромная муравьиная куча. Он говорит: вот сюда посадите меня. Снял он штаны, и я его посадил на эту кучу. Говорю: хорошо, сиди, а я погуляю тут, посмотрю окрестности.

Хожу, смотрю, природа там – что-то удивительное. В том месте, где мы коляску оставили и откуда лезли на эту крутую гору, проходит дорога через лес на другой конец острова. Внизу под нами – монастырская бухта (мы оказались, где она уже заканчивается). А там – чего только нет. И яхты под парусами стоят (на них из Ленинграда приезжают отдыхающие), и кораблики, и лодки. Подальше там катера какие-то причалили, целый баркас у берега. А тут – и скалы, и сосны вокруг, наверху виднеются шпили этих пустых деревянных церквушек. Неповторимая картина, невозможно оторваться.

Потом я вернулся к нему: ну как, спрашиваю, живой? – Живой, отвечает. Такой довольный. Поехали обратно. Добрались до гостиницы, довёз его до палаты, посадил на кровать. И вот он потом несколько дней всё надеялся на выздоровление. Но, как и следовало ожидать, никакого результата не было.

Жил я в бывшей келье монастырской гостиницы. Рядом там же под крышей была комнатка (она и сейчас есть), где когда-то останавливался художник Шишкин, знаменитый пей-

зажист. Он делал свою дипломную работу «Остров Валаам», за неё он потом получил золотую медаль Академии художеств. Это пейзаж глухого уголочка, где скалы, ручеёк тут, берёза сгнившая лежит и сосны стоят. Валаам вдохновил ещё и Петра Ильича Чайковского на создание симфонии.

Мне всё хотелось попасть на Никольский скит в отделение, где находились психически больные инвалиды. Это было не так далеко от моей монастырской гостиницы, и я даже несколько раз подходил к этим мосткам на Никольский скит. Но директор Иван Иванович Королёв сразу мне сказал: туда тебе нельзя. – Я спрашиваю: почему нельзя, Иван Иванович? – А он отвечает: потому что там психически больные. Ты же рисуешь инвалидов войны? А они теперь стали просто психически больными инвалидами. (Я думаю – а разве психически больные не могут быть инвалидами войны?)

Глава 47

30 января 2006 г.

Кровавые туши в древнем соборе. Годы безбожия на острове. Валаамские кладбища. Прошлое и будущее. Никольский скит. Юра Писарев. «Неизвестный солдат». Вокруг острова на лодке. Инопланетяне. Следы последней войны. Художник Кронид Гоголев. Прощание с Валаамом. Вступление в Союз художников.

Моя жизнь на Валааме в течение полутора месяцев была необыкновенно насыщена. С утра я обычно рисовал инвалидов войны (поясные портреты). Я чувствовал, что наконец занимаюсь своим делом, и потому чувствовал себя очень спокойно. С благодарностью думал о Кибрике, о его огромном заслуженном авторитете – это он, когда-то побывав здесь, дал мне такой мудрый совет.

Теплоход приплывал на Валаам каждый день, но останавливался он не в монастырской бухте, а у Красного скита, это километров за семь от центральной части Валаама, где находились собор, магазин, трёхэтажная монастырская гостиница и администрация. Место причала теплохода было довольно крутым и диким. Он подходил прямо к берегу, сбрасывая трап, люди сходили на берег и сразу по тропиночке шли вверх. Потом эта тропиночка переходила в дорогу, идущую

на север, и километров через семь туристы подходили уже к большому собору, в котором хранилось... мясо для жителей интерната. Открывали собор не для того, чтобы там молиться, а для того, чтобы нарубить мяса на обед. Когда я заходил туда, то сразу видел огромные коровьи и бычьи туши, как на картине Рембрандта. Они, ободранные, висели на крючьях, тут же стоял широкий пень и лежал такой же большой топор. Эти туши рубили, потом клали в баки и тащили на кухню. Там их резали, варили и кормили инвалидов. В глубину самого собора никто не заходил, но я однажды попытался. И лучше бы этого не делал.

То, что я увидел, – просто ужас, такого издевательства над фигурами святых, украшавшими все стены, я ещё нигде никогда не видел. Там изображалась княгиня Ольга, первая христианка на Руси (её потом канонизировали), с левой стороны собора была написана её большая фигура во весь рост. Но не знаю, кто тут хулиганил – тут и финская армия базировалась перед войной, и немцы здесь побывали в войну, и наши красноармейцы потом находились, – конечно, это люди всё неверующие. И вот лицо несчастной Ольги было теперь беспощадно исцарапано и порублено, а между ног ей не то штыками, не то долотом каким-то пробили огромную дыру. Так же изуродовали фигуры и других святых.

В общем, на что взгляд ни падал, везде я находил следы варварства, кощунства и величайшего безразличия к религии. Даже не безразличия, а какого-то бешеного презрения и

насмешки, будто бы эту вакханалию творили тут не русские люди, а кто-то вообще совершенно чужой. То есть Валаам, святой остров, святыня верующих – попал в руки случайных людей, полнейших безбожников, которые делали на нём всё, что хотели.

К этому приложили руку и инвалиды – вот эти полторы тысячи покалеченных войной, одиноких, обиженных, брошенных людей с переломанными судьбами. Они тоже, абсолютно не веря ни в какие великие догмы, оказались полными хозяевами всех скитов, которые покинули монахи. Почти всё богатство, вплоть до ковров, до церковной одежды, утвари и икон, было оставлено на произвол неверующих людей. Это сейчас, когда восстанавливаются церкви, службы, ценятся и переиздаются старые книги, уже трудно представить. А ведь не так давно всё было иначе, и на прошлое, на церковное убранство смотрели лишь как на старый хлам, от которого можно выгодно избавиться. Разбивали на колокольне каменные окна, снимали как-то общими усилиями колокола, проталкивали их в эти окна и сбрасывали вниз. И вот этот колокол из дорогого металла, часто позолоченный (ведь не жалели ничего для своих святынь православные), отлитый где-то в царских мастерских, – сбрасывали, разбивали кувалдами, грузили на лодки и отвозили в Сортавала в утильсырьё. И таким образом зарабатывали деньги. Тут же покупали водку и напивались. Главное – обо всём забыть.



Здесь были великие грешники

Дорога с пристани подходила прямо к воротам двухэтажного здания, опоясывающего собор. Над воротами находилась арка, а над аркой висел деревянный крест. И вот как-то я смотрю – этот крест уже валяется внизу, в грязи. Я поднял его, почистил, упаковал. Пошёл на почту и послал его Люсе в Москву посылкой. В другом месте, на разорённом кладбище, я нашёл в земле разбитое металлическое распятие с одной рукой у Христа. Я его тоже взял на память о Валааме и привёз в Москву. Недостающую руку Христа вылепил из пластилина, потом всё это покрасил и укрепил на том самом

кресте с Валаама. И вот в таком виде это распятие висит у меня на стене уже много лет.

Если перейти монастырский двор, то в противоположной стене будет проход на старое монастырское кладбище. Все древние надгробия там или стояли повреждёнными, или валялись расколотыми, и из земли торчали куски мрамора. Некоторые я попытался соединить, очистить, чтобы прочесть надписи, славянские буквы были выбиты очень глубоко. И прочёл примерно такие надписи... «Великому молчальнику Иоанну, 79 лет, почившему тут...», «Молчальник Иосим... 80 лет...», «Молчальник Кирилл... 90 лет...». Много там находилось этих полуразрушенных надгробий монахам-молчальникам. Когда-то это кладбище было большое и богатое, но теперь – будто кто-то ходил там и ломом или кувалдой бил по этим камням, чтобы от них ничего не осталось, никакой памяти.

Кладбище окаймляли белые каменные стены, а по углам были выстроены башенки – четыре башни, над которыми парили чёрные ангелы с трубами. Казалось, что они исполняли какую-то песнь славы умершим, лежащим в этих могилах. Невыносимо грустно всё это смотрелось.



Ангелы на башнях

Дорога от монастыря на север шла через лес. И там находилось другое большое кладбище, где стояли каменные часовни с коваными решётками на окнах удивительной красоты и сохранились некоторые старинные памятники. Стоял, например, памятник Иоанну Дамаскину, прославленному настоятелю монастыря. На могилах иноков возвышались кресты на высоких каменных постаментах, их было много, но тоже далеко не все сохранили свой первоначальный вид.

Я всё мечтал попасть в Никольский скит и несколько раз приближался к мосткам, которые вели туда. А потом увидел

женщину, приходившую вечерами зажигать фонарь на баке-не на этом островке. И я иногда стал её сопровождать. Мы шли вдоль всего скита и спускались с той стороны к воде, чтобы зажечь бакен. Он служил ориентиром для пароходов, по далёкому огонёчку на водной глади озера они могли определять вход в монастырскую бухту. Таким образом, я постепенно уже имел представление о том, что находится на этом Никольском острове. Там было психиатрическое отделение дома-интерната.

Директор интерната Иван Иванович Королёв любил говорить, что он – король, а Валаам – его королевство. Он вёл себя так уверенно ещё и потому, что его родная сестра работала в Петрозаводске в управлении социального обеспечения Карелии и таким образом помогала брату чтобы Валаамский интернат жил безбедно. Одновременно она оберегала Ивана Ивановича от разных проверок, связанных с письмами, в которых люди жаловались на интернатские порядки. И вот однажды, когда директор уехал дня на четыре по делам к своей сестре в Петрозаводск, я решился посмотреть больных, которые находились в Никольском скиту.

Но обитателей Никольского скита я увидел ещё только подходя к понтонному мосту. В это время как раз туда подъехала повозка, на которой было написано «Хлеб», её тащила лошадь. И я смотрю – с острова отделились две фигуры с носилками, подошли к этой повозке. Возница открыл ящик на телеге и в короб на носилки начал выгружать хлеб для боль-

ных, много буханок. И потом говорит этим двум: ну, берите, несите (они всё стояли, смотрели). И вот один из них взялся за деревянные ручки и хотел тащить эти носилки с хлебом в свою сторону. Но и другой точно так же встал к нему спиной, взялся за ручки и стал тащить их в свою сторону. И таким образом они стояли на месте и никак не могли понять, почему они не двигаются, каждый был уверен, что вот сейчас они пойдут, нужно только немножко напрячься. Потом всё-таки они остановились, посмотрели друг на друга и догадались, что нужно идти друг за другом. После этого они пошли, и я двинулся за ними через мостик.



Мост на Никольский остров

На самом мостике стоял ещё больной, он держал в руках большой, но, видимо, не тяжёлый деревянный крест и время от времени этим крестом бил по воде. Ударит – крест погружается в воду, потом он его вытаскивает. Снова поднимает вверх и опять со всей силы бьёт по воде. А другой больной зашёл в воду и пытался воткнуть в дно этой протоки крест ещё большего размера. Вода идёт, а над ней крест возвыша-

ется. Вот так они забавлялись. Церковь стояла тут же недалеко на другом маленьком островке, куда тоже вели мостки.

Я пошёл к этой церкви. Некоторые больные сидели на корточках у дверей церкви и грелись на солнце. Стены снаружи, как и везде, были покорябаны, исписаны словами – то «Толлик», то «Вася», то «Иван», разбитая дверь еле держалась на единственном навесе. Я зашёл внутрь. И первое, что увидел, – большой иконостас напротив входа. Только на самом верху сохранилось несколько прекрасно написанных икон (будто их недавно написали свежей краской). Они находились очень высоко, потому и спаслись от варваров. А то, что пониже, всё было выломано и разбито, вместо икон остались только дыры в иконостасе. Не знаю, куда делись эти иконы, может быть, утонули в Ладоге, в общем, внизу тут остались только две или три больших иконы святых во весь рост со свитками в руках в молящихся позах.

Вид оттуда, с острова, был просто завораживающий – озеро тянулось до горизонта, но кое-где возвышались небольшие островки, на которых когда-то тоже жили монахи-отшельники. На этих островках виднелись деревянные рубленые церквушки или небольшие часовенки. И вот шатры крыш этих церквей и высокие ели, покрывающие острова, – абсолютно совпадали формами. Внизу они были шире, потом становились всё уже, а ещё выше – только маковка и крест в небо возносился. В общем, эти деревянные церкви и часовни находились в полной гармонии с окружающей при-

родой, они нисколько не выделялись и не возвышались над ней.

Конечно, удивительно, как в прежние времена люди в этих местах, казалось бы, удалённых от больших поселений, от культурных центров, – как они жили тут в уединении, сами по себе, богатой духовной жизнью. И (забегая вперёд) от-
радно было узнать, что уже через несколько лет после моего посещения Валаама эта духовная жизнь медленно начала на остров возвращаться. Немногочисленных оставшихся инвалидов войны, порой (увы!) вопреки их воле, постепенно стали переселять на материк в другие интернаты, в новую, непривычную для них обстановку. На остров сначала приезжали просто энтузиасты разбирать завалы. Потом прибыли бригады специалистов по древнерусской живописи, они работали с цементом, со штукатуркой, с красками, но это были ещё реставраторы светские.

Но следом за этими реставраторами стали приезжать и монашки. Я познакомился с одной такой девушкой, когда меня возили на Валаам для съёмок фильма в конце 80-х годов. Она казалась какой-то необыкновенной – красивой, тихой, скромной. Ей там дали келью. И она мне говорит: Гена, вот у меня есть книги о Валааме и о монахах, которые тут раньше жили. Вот смотрите, какие гравюры, как выглядели эти люди. В общем, эта девушка явилась как бы первой ласточкой будущей жизни, которая позже стала возрождаться на острове. Потом к ней приехала подруга. И когда я как-то за-

шёл в разорённый, настежь открытый собор, то увидел, как они там мели пол и своими изящными слабыми руками выносили груды мусора. При мне они стали мыть камни на паперти, отмывали, драили их с мылом – смотреть на это без слёз было просто невозможно. Вот они вымоют небольшую площадочку, сходят нарвут букетик цветов (а цвело всё вокруг, травы стояли свежие) и в баночке цветы эти поставят. И так они радовались, что есть хоть какое-то чистое место, где можно колени преклонить и помолиться.

А тогда, в 1974 году, осматривая этот Никольский скит, я попал в маленькую бывшую монастырскую гостиницу. Захожу в одну палату (это раньше были кельи), смотрю – сидит старик с длинной бородой, с маленькими скрещенными ножками, с худенькими высохшими ручками и с огромными глазами. Он сидел и читал книжку. Я спрашиваю: откуда у вас здесь книжки? – Он отвечает: это мои книжки. Когда меня забирали, то я попросил, чтобы мои книжки тоже привезли вместе со мной на этот остров. У меня, говорит, целая библиотека здесь, вот смотрите. И я вижу – на окнах книги, под кроватью книги, везде какие-то полки с большими томами. А он мне показывает одну: вот я вам подарю книгу о логосе (логос – это такое философское понятие). Прочитайте, очень интересно, тут такие философские споры идут – что такое логос, как его понимать, как его чувствовать, как его применять в жизни.



Юра Писарев

В общем, это было чудо какое-то – встреча с ним. Звали его Юра Писарев. Я, конечно, не был философом, я скорее практик, практик и наблюдатель. Эти вот философские понятия – я их не отвергаю, просто не углубляюсь в них никогда. Если уж я в религиозные догмы не углубляюсь и ничего не знаю, можно сказать, о церковной жизни, то что уж говорить тогда о философии, где веками отрабатывались взгляды, один другого авторитетнее и один другого противоречивее. В общем, мне это скорее напоминает схоластику или просто какое-то умствование, но тем не менее Юра Писарев подарил мне эту книгу, и она у меня где-то лежит дома до сих пор. Этот Юра сразу стал просить меня передать письма на волю: вот, говорит, я вам дам несколько писем, когда вы поедете обратно, то передайте их в Москве моим друзьям. Я вообще-то не рассчитывал на то, что буду таким почтальоном, я не был никогда ни правозащитником, ни каким-то общественным деятелем, но раз уж он попросил, я пообещал: ладно, хорошо, передам. А сам всё на него смотрю. Он, в общем, оказался не очень старым, но эти глаза огромные... просто невозможно оторваться от них, очень выразительное и глубокое лицо у него было. И в этом психиатрическом отделении, в своём беспомощном положении, в своей этой необыкновенной бедности – и такая богатая духовная жизнь.

Детские, неразвитые ноги его совершенно не держали, он

не мог ходить, он просто сидел. А если передвигался, то только при помощи рук, подтягивая ноги. Коляски у него я тоже не видел. Я спрашиваю: Юра, а как ты гуляешь? – Он отвечает: я никогда не гуляю, не гулял уже давно, несколько лет. – Я тогда предлагаю: давай я возьму лодку и приплыву к тебе на лодке. (Там, на причале у нашей гостиницы, можно было попросить лодку.) Потом, говорю, я тебя подниму, отнесу в эту лодку, посажу, и мы с тобой поплаваем на лодке вокруг острова. Я буду грести, а ты будешь сидеть и смотреть. – Он говорит: давай.

Так мы и сделали. Я взял лодку, подплыл туда. Вынес Юру на руках, он был невероятно лёгкий, но боялся, что я его уроню, держался крепко за меня, ухватился за шею. Я успокаиваю: да ты не бойся, не упадёшь. И вот я его принёс, посадил в лодку. Он руками стал держаться за борта, но всё равно продолжал бояться: ой-ой-ой, вдруг я упаду в воду, вдруг я упаду. – Я говорю: да Юра, не бойся, никуда ты не упадёшь, сиди спокойно, не качай лодку. И мы этот Никольский остров обогнули в одну сторону, в другую сторону, в общем, поплавали с ним немножко вдоль берега.

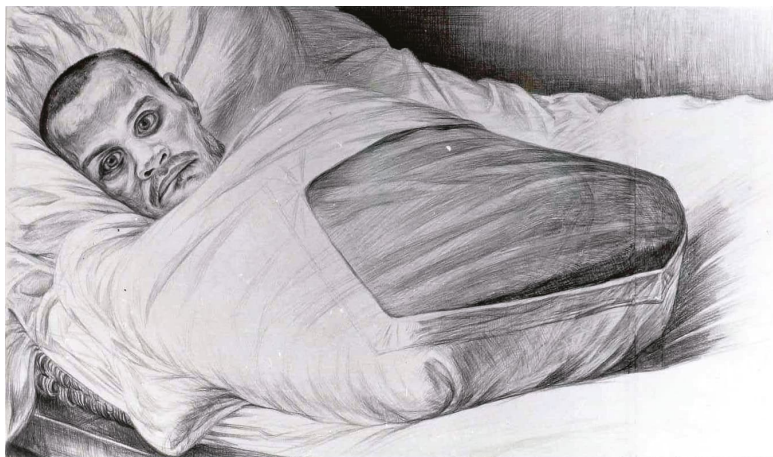
Но я чувствую, этот свежий воздух, это дыхание воды – непривычны для него. В палатах у них или плохо проветривали, или совсем не проветривали, и спёртый воздух там весь пропах мочой и плесенью. И вот я вижу, как у Юры на лице постепенно всё светлеет, даже глаза стали какие-то голубые. Я спрашиваю: Юра, а почему у тебя борода испачкана

зелёной краской? – Он отвечает: не знаю, у нас нет никакой краски. Наверно, это плесень у меня на бороде образовалась от постоянной жизни в замкнутой полутёмной комнате. Потом я привёз его обратно и посадил снова на кровать.

А сам пошёл дальше осматривать комнаты. Захожу ещё в одну комнату. Смотрю, человек лежит – без рук, без ног, укрытый маленьким одеяльцем, на белой простыни, на подушке, всё очень чисто. И он только смотрит на меня, смотрит. А я гляжу на его лицо, и мне кажется, что это как бы молодой новобранец. Но потом понимаю – нет, он не такой уже и молодой, это просто лицо у него застыло в том состоянии, когда его контузило, и с тех пор оно не стареет. Он смотрит на меня и ничего не может сказать. А мне потом нянечки объяснили – он ничего не говорит, он контужен на фронте, его таким привезли откуда-то ещё давно, и документов никаких при нём не было – кто он, откуда, где служил... Подобрали его уже таким где-то на поле боя.

Я сейчас же побежал обратно к себе, взял планшет свой, бумагу, карандаш и прибежал обратно. Сел тут напротив и стал его рисовать. А он – как лежал в одном положении, так и лежит, как смотрел на меня, так и смотрит – ясным, чистым и каким-то проникновенным взглядом. И я его как-то легко стал рисовать, потому что я чувствовал, будто это мой брат, будто он какой-то мой родственник, будто это человек очень мне близкий. Я просто зажал зубами свои губы, чтобы они не кривились от боли и чтобы глаза не застилали слёзы, – и

я постарался изобразить его как можно правдивее.



Неизвестный солдат

Но рисование – это особый вид искусства. Здесь даже если хочется плакать, то не всегда можешь заплакать, потому что движется рука, одновременно наблюдаешь за пропорциями, за поворотами формы, за тем, как располагаются пятна на рисунке (свет, тени). В общем, мысль отвлекается от той необыкновенной жалости, которую, может быть, художник испытывает, глядя на свою натуру. Но у меня получилось, я его нарисовал. Хотя там и рисовать-то было нечего – на подушке лежала голова, а всё остальное закрывало одеяльце. И ноги у него отсутствовали, и руки – его укутали, и он лежал

как какая-то кукла или маленький ребёнок.

Когда я этот рисунок сделал и отнёс к себе в комнату, как раз вернулся Королёв, директор интерната. Конечно, ему сразу доложили, что на Никольском скиту был художник, что он рисовал неизвестного солдата (я рисунок назвал «Неизвестный солдат»). Королёв пришёл в ярость. Он велел меня позвать к себе. Я прихожу. Он спрашивает: а кто вам разрешал туда ходить, на этот остров? – Я отвечаю: мне просто любопытно было. (В общем-то, я больше молчал.) Он начал кричать и вдруг заявляет: знаете что, лучше вам уехать, больше не надо ничего и никого рисовать. Уезжайте, раз вы меня не послушали, – и так уже достаточно, вы тут полтора месяца. Достаточно. Уезжайте. Больше я вам не разрешаю ничего рисовать. – Я говорю: ладно, хорошо, я узнаю, когда пароход, кажется, через два дня. – Вот через два дня и уезжайте.

Таким образом, я сделал там пять рисунков вместе с портретом Серафимы Николаевны, но её портрет я никогда не показывал. Ещё я начинал рисовать портрет одного гармониста, который всегда играл там на крылечке (а другие инвалиды пытались танцевать), но натурщик попался неусидчивый. Мне казалось, что я смогу сделать хороший рисунок, но куда там – он минуты не сидел спокойно. Кроме того, со всей округи слетались голуби, садились ему и на плечи, и на руки, и на гармонь. А он только улыбался и продолжал играть в окружении этих голубей.



Валаамский гармонист

Этот гармонист рассказывал: я здесь живу с самого основания интерната – столько отважных, несгибаемых, весёлых ребят тогда прибыло. Теперь уже кто где – кто сам умер, кого убили, в общем, нравы тут царили ещё те. То, что сейчас осталось, – нет никакого сравнения, то поколение уже ушло. Это всё были солдаты, которые ходили в рукопашные бои с немцами, – смелые, бесстрашные. И даже потом, когда они лишились возможности двигаться, то и тут они, и в этой жизни, совершали какие-то отчаянные поступки. Вот, говорит, мы сидим во дворике около этого собора, играем тут в домино, а рядом колокольня высокая. И как это он так смог? Без рук, без ног, и забрался на самую вершину этой колокольни, залез там как-то на подоконник и кричит оттуда: ребята! Вот он я! И все на него туда обернулись. Смотрим – и вдруг он оттолкнулся и летит вниз с этой высоты. И упал прямо к нашим ногам. И разбился насмерть. Так, говорит, умирали раньше мои товарищи.

Мне оставалось уже мало времени. Я думаю, возьму-ка я лодку, надо остров на прощанье посмотреть. А там жил один инвалид, Володя (его когда-то укусил энцефалитный клещ, у него голова склонилась вперёд под прямым углом и подбородком упёрлась прямо в грудь, так что он видел перед собой только землю, а разогнуться не мог, у него и жена была, и дети маленькие). Я говорю: Володя, я скоро уезжаю и хочу

вокруг острова проплыть, ты мне можешь показать лучший путь? – Он отвечает: ну давай, бери лодку.

И вот я взял лодку, сел на вёсла. Мы из этой монастырской бухты свернули налево и стали грести вдоль острова. И я вижу – отвесные скалы, и на этих отвесных скалах сосны тоже растут вверх. Где же там земля? Как же они держатся, эти сосны? Это зрелище удивительное, просто растут неизвестно откуда огромные деревья. (Видимо, из расщелин камней.)

Плывём дальше. На правой стороне появляется отдельный остров, там тоже тёмные деревья, дорожки тянутся наверх и церквушка стоит на вершине. И вот мы так плыли, проплывали незнакомые берега, неизвестные мне места. То деревья подходили к самой воде, то большие валуны преграждали нам дорогу. Но, в общем, мы хотя и медленно, но двигались вдоль берега. Потом стало уже понемножку темнеть, а мы всё плывём. Я спрашиваю: Володя, долго ещё нам плыть? – Он отвечает: да это только начало, нам ещё весь остров надо обогнуть. – Я испугался: а что нам теперь делать? Где мы будем ночевать? – Он говорит: я не знаю, обратно тоже далеко плыть. Давай тут поищем, может быть, избушка где-нибудь есть.



На Валааме. Фото 1974 года

А камни у этого острова Валаам, которые в воде находятся, какие-то огромные, но плоские. Я спрашиваю: а почему они такие плоские? – Володя говорит: их ледник так сгладил, восьмиметровый слой льда когда-то покрывал весь этот остров. Ледник постепенно таял, как бы уползал на север, тащил за собой всё, что было под ним, и полировал эти камни. (И они действительно отполированы, будто кто-то их нарочно сгладил, какой-то великан.) Мы дальше гребём, уже стемнело, почти совсем темно. И вдруг я в густых сумерках замечаю какую-то протоку между большим островом и маленьким, и на этом большом острове стоит какая-то избушка. Я говорю: Володя, давай уж сегодня дальше не поплывём, заночуем в этой избушке.

Мы лодку затащили, чтобы её не унесла вода, привязали и пошли в эту избушку в полной темноте. В избушке ничего не было, кроме большого деревянного топчана, ещё топчана поменьше, маленького окошечка и двери. И всё. А холодно уже стало. Володя говорит: я лягу вот на этом топчане, а ты там ложись, укроюсь пиджаками и сохраним тепло, чтобы нам совсем не замёрзнуть к утру. Он лёг, и я тоже лёг.

Лежу, лежу, бессонница, не спится совершенно. Я и так, и так – и на один бок, и на спину, и на другой бок, и растянусь, и согнусь – ну никак не мог уснуть. Тогда решил – выйду-ка наружу. Встал и пошёл. Открываю дверь, выхожу и... замер.

Вижу – корабль надо мной висит инопланетянский! Глазам своим не верю – боже мой! Этого не может быть! Я никогда не верил ни кораблям никаким, ни всем этим фантазиям, ничему – и вдруг я сам вижу на небе какие-то металлические серебристые приплюснутые сферы с лампами, там и красные, и синие, и зелёные огни как-то попеременно. И этот корабль будто стоит над озером на четырёх подпорках – четыре мощных прожектора светят прямо в воду. Я так смотрю, рот раскрыл и только повторяю – боже мой! Что же это такое? Неужели все эти рассказы об инопланетянах, что их многие видели, правда? Я кинулся в дверь, кричу: Володя! Володя! Вставай скорее! Вставай скорее! Иди сюда, посмотри!

Но пока он там проснулся, начал вставать – я опять выскочил наружу. Смотрю – этот корабль лучи убрал и потихоньку, потихоньку начинает удаляться. Я опять зову: Володя! Володя! Иди же скорее! А этот корабль всё быстрее, быстрее удаляется, и вот он уже пропал – но без шума моторов, всё это совершенно беззвучно. Наконец Володя вышел. Я спрашиваю: ты ничего не видел? – Нет, ничего. – Я говорю: это ведь кому сказать – ни за что не поверят.

Так я и не спал до утра. Потом мы чуть свет сели в лодку и поплыли дальше. Так мы и плыли целый день. Потом попали в протоку с большим течением, еле выплыли. Я уже хотел грести дальше вдоль берега, а Володя показывает: видишь тот остров? Там есть пещера, в которой жил Александр

Свирский, и его могила. Хочешь посмотреть? – Я говорю: да, слышал, был такой святой.

Тогда я направил свою лодку прямо против течения. Нас сносило, но всё-таки я выгреб. И мы причалили как раз к тому месту, где недалеко от воды находилась эта пещера. Мы подошли к пещере, это была келья Александра Свирского. Я смотрю – там только дверь деревянная, а вся келья сложена из естественных камней. Над этой кельей возвышалась огромная скала, которая тоже состояла из больших плоских камней, которые, видимо, падали, падали вниз и образовали такой шатёр, как бы свод. А потом и остальные камни там нагромодились, и получилась естественная келья, конечно, только для монаха. И Александр Свирский в этой небольшой келье жил и молился. Сверху он пристроил дверь, чтобы закрываться от лосей или птиц, а внутри там иконка у него стояла и топчанчик маленький. Он вырезал огромный крест из дерева и установил его рядом со своей кельей. Я смотрел на этот крест и ничего не понимал – он от самого основания до верхушки весь был изрезан старославянской вязью, какими-то непонятными буквами.

Мы так всё обошли, посмотрели. Володя говорит: хочешь поднимемся наверх, посмотрим сверху? И вот мы стали подниматься по какой-то еле заметной тропочке наверх. В общем, мы залезли на вершину, и я посмотрел вниз. И вижу, что огромные ели эти вниз спускаются чуть ли не до самой воды. (А мы поднялись только до середины этих деревьев,

они ещё вверх настолько же уходят.) Я думаю – вот это да! Вот это ели! Что же это за гиганты такие? Какая же здесь природа! Это дикие деревья на воле достигали небывалой высоты по тридцать метров! Что-то невероятное.

Пока мы тут рассматривали всё, пока гуляли, пока спустились – и опять уже день стал клониться к вечеру. И я предлагаю: Володя, теперь мы выбрались, давай по этой стороне поплывём в бухту. (А мы протоку эту переплыли и лодку спрятали там в камышах.) Он говорит: Ген, знаешь что, давай сегодня никуда уже на лодке не поедem, а оставим лодку и пойдём пешком. Тут дорога идёт прямо к монастырю, и по ней мы успеем добраться до темноты – покушаем хотя бы, целый день ничего не ели. А потом, говорит, я сам схожу за этой лодкой и пригоню её в бухту. – Я говорю: ну ладно, пойдём.

И мы пошли. Я смотрю – стоит красивейшая рубленая церковь прямо у воды, скорее не церковь, а часовня с одним шатровым куполом. Тут окошки, крылечко, всё резное такое, сказочное. И я ещё подумал – как же она тут сохранилась? Какая же это церковь беззащитная, взбредёт в голову какому-нибудь охотнику спичку бросить – и всё сгорит, ведь никого же нет вокруг. Никого.

Мы идём по дороге, и я говорю: Володя, давай всё-таки немножко свернём, пройдем по берегу, там интереснее идти около воды. Мы свернули. И вдруг я вижу бетонные укрепления, целые монолиты. Кто же их строил в такой глуши?

Это сколько же бетона надо было привозить? И сверху на них какие-то огромные круги, тоже из бетона. А на них уже закреплены чугунные круги и ещё штыри с нарезкой. Потом шла невысокая стена полукругом, а на ней написано синей краской: «Наш ответ Чемберлену». И тогда я понял, что этот бетон служил основанием для пушек, что тут стояла какая-то большая батарея, а этот чугунный круг являлся лафетом, на котором поворачивали орудие то в одну сторону, то в другую. А Володя говорит: да, здесь стояла большая морская флотилия в конце войны. Но потом пушки были сняты и переброшены в другое место.

И таких следов войны, пока мы шли, видели много. Лафеты сейчас уже заросли травой, но смотрели они прямо на Ладогу, на финскую сторону, туда, наверно, стреляли пушки. Видели несколько бетонных укреплений, заброшенных блиндажей, тоже забетонированных, на некоторых стояли двери такой огромной толщины, что сдвинуть их с места было уже невозможно. Вместо обычных ручек к ним приварили огромные скобы, которые при повороте так прочно закрывали двери, что не требовалось никаких замков. Ещё попадались полуразрушенные доты, на которых сверху росла трава, а если туда зайдёшь внутрь, то в узкие щели можешь видеть даль озера. Когда-то тут всё гремело, стреляло, в общем, вся эта западная сторона Валаама была покрыта этими дотами. Теперь же всё это, заросшее травой, молчало. Я спрашиваю Володю: а с другой стороны монастырской бухты есть такие

укрепления? – Он говорит: есть и с другой стороны, можем посмотреть.



Следы войны

Наша тропинка вела к Белому скиту, а мы свернули и пошли к воде. И опять – и доты, и эти основания для пушек, и остатки строений. Когда-то здесь, наверно, находились большие казармы, а теперь остались только доски и брёвна, вертикальные и горизонтальные, по этим брёвнам мы пробирались от одного строения к другому. Кое-где остались стены, и на них сохранились, видимо, солдатские рисунки. (Нари-

совано – матрос в галифе и в бескозырке штыком подцепляет немца, поднимает его на штыке и хочет сбросить в воду.) У стен валялись ржавые остатки металлических кроватей. В другом месте стены не сохранились, но стоит косяк и дверь, на которой вырезана пятиконечная звезда.

В последний день я уже ничего не делал, просто гулял. Иду по краю этой бухты, смотрю – на берегу много детей, все сидят, рисуют, и среди них ходит учитель. Я подошёл. Он говорит: я слышал о вас, из Москвы приехали? А я здесь, в Сортавале, работаю в художественной школе, это, говорит, мои ученики, мы приехали сюда порисовать. Меня зовут Кронид Гоголев. А можно я посмотрю ваши рисунки? – Я отвечаю: ну пойдёмте. Он предупредил своих учеников, чтобы не расходились, и мы пошли. Пришли в гостиницу, я вынес на улицу планшет и стал ставить рисунки, ему показывать. И по мере того, как я их показывал – у него лицо всё бледнело, бледнело, и вдруг он говорит: ой, страшно, вы их кому-нибудь уже показывали? А вдруг их кто-нибудь увидит? Что тогда будет? Знаете, я пойду, мне надо сейчас идти. И смотрю – уже побежал, очень сильно испугался.

А я уже готовился в обратную дорогу. Вообще-то, когда я собирался на Валаам, я планировал сделать хотя бы три портрета (а не пять, как получилось у меня), потому что для показа на выставке обычно берут один-два рисунка. В общем, я мог возвращаться домой, как говорится, с отрядным чувством исполненного долга.

Я дал адрес Серафиме Николаевне, спрашиваю: вас, наверно, никогда никто, кроме меня, не рисовал? – Что вы, Геннадий Михайлович, что вы, до вас нас никто не рисовал, и мы думаем, что и не будет больше никто рисовать, потому что мы тут себя считаем заброшенными, париями общества. Вот мы, говорит, наблюдаем издали – мимо идут пароходы с туристами из Ленинграда в Кизи, музыка играет на палубе, все довольны – или целуются, или танцуют, или выпивают. А мы, говорит, тут сидим на наших колясках и смотрим на эту жизнь, которая проплывает мимо нас. Сперва приближается – звуки всё громче и громче, а потом всё удаляется, и опять мы одни. И летом мы одни, и зимой мы одни. Правда, говорит, зимой иногда с этого Никольского скита совершаются побег, сумасшедшие бегут чуть ли не босиком по снегу в сторону Сортавала (там километров сорок, наверно). Но куда они бегут? И, конечно, по дороге их или возвращают, или они замерзают. Отсюда, говорит, невозможно убежать, да никто и не стремится, тут жить можно. Куда убежишь? И как в другом месте? В другом месте, может, ещё хуже. Так вот, говорит, мы и живём. И мы с ней простились, потом она мне часто писала в Москву, я ей отвечал.

А сам я когда вернулся в Москву, то здесь скоро наступило время показывать рисунки второй раз, уже секретариату Союза художников России и президиуму Академии художеств на предмет окончательного решения вопроса о приёме в Союз художников.

Принесли мы с Люсей работы в Московский Союз художников на Беговой улице, а мне Сюзанна (секретарша) показывает: вот тебе место, около сцены. Извини, конечно, место тут неудобное, идёт лесенка на сцену. (Всем другим хорошие, выгодные места отвели на стенах, они уже развесили там свои работы, а мне как бы самое худшее место дают.) Она спрашивает: а кто тебя будет защищать? – Я отвечаю: никто меня не будет защищать. – Она опять: как никто не будет защищать? – Я говорю: да никто не будет, сами работы должны защищаться. (Она так удивилась и ушла.)

Никого я не просил, и никто меня не защищал, я был как-то совершенно спокоен. Я решил показать вот эти свои новые валаамские рисунки в дополнение к тем, которые я показывал раньше, когда смотрело руководство секции. И, конечно, эти новые рисунки сильно отличались от работ других художников. Это, во-первых, были портреты. Во-вторых, они писались с натуры, выглядели мощно. И, в-третьих, они открывали новую тему инвалидов войны. Эти рисунки выделялись во всех отношениях.

Ещё до прихода комиссии экспозицию смотрели отдельные художники. Вот вижу – пришёл Дмитрий Жилинский. Он ходил, разглядывал и вдруг увидел мои портреты. Встал как зачарованный, смотрит на них не отрываясь (а я тут же рядышком стою). И он меня спрашивает: это ваши портреты? – Я отвечаю: да. И вдруг он меня неожиданно обнял так, поцеловал и сразу отошёл. А к нему уже бросился ка-

кой-то художник с просьбой: посмотрите мои работы, я был на Кубе, я там нарисовал Фиделя Кастро (и повёл его к своим работам, там действительно висел портрет Фиделя Кастро в профиль). Но Жилинский посмотрел, ничего не сказал и ушёл. Других мнений о своих работах я не слышал, потому что тут вскоре всех выгнали, закрыли зал и ждали уже прихода высшего художественного руководства. В общем, просмотр прошёл, за меня проголосовало большинство, и меня приняли в Союз художников. Это было в конце 1974 года.

Мне было уже 37 лет. Я невольно сравнивал свою судьбу с жизнью других художников, знакомых по школе и по институту, живших в Москве или сумевших быстро в Москве устроиться путём женитьбы. Все они легко получили дипломы в институте, оставались на кафедрах, в мастерских при академии, активно работали в живописных и графических комбинатах, в издательствах, преподавали, обрastaли знакомствами и связями и, конечно, к этому времени давно уже были членами Союза художников и имели свои мастерские.

Мне же пришлось идти очень сложным путём – отстаивать свою независимость в искусстве, начиная с диплома, всего добиваясь самому (и прописки, и жилплощади), и на это ушли годы и годы. Но как эти годы обогатили мой жизненный опыт! Как глубоко повлияли на мои творческие замыслы и милицейские наблюдения, и дежурства в больницах, и общение с душевнобольными – и как постепенно, постепенно я обрёл свой, самостоятельный путь...

Глава 48

30 января 2006 г.

Свадебное путешествие в Севастополь. Подслушанный разговор. Новая информация из управления соцобеспечения в Москве. Подарки чешского посольства. Приезд в Бахчисарай.

Летом того же 1974 года, когда я вернулся с Валаама, приехала из Горького Люси́на мама, она направлялась в Севастополь на отдых, туда она ездила уже несколько лет подряд, снимала комнату у знакомых. Муж её Василий Васильевич никогда с ней не ездил. И Люся мне говорит: у нас с тобой не было свадебного путешествия, давай мы его сделаем? – Я спрашиваю: а как? – Ну вот мама едет в Севастополь и зовёт нас тоже туда приехать. Это мы должны взять с собой напрокат палатку, поставим её на берегу, а мама будет приносить нам еду и поддерживать нас. Поживём как дикари, а ты, если хочешь, можешь что-нибудь порисовать, там красивые места. – Я говорю: знаешь, после острова Валаам, после того, что я там видел и рисовал, мне ничего другого рисовать уже не хочется. А поехать можно, почему бы не поехать?

Я пошёл в пункт проката на Белорусской площади, взял там палатку напрокат. Одна раскладушка у нас была, другую я купил – странную, очень лёгкую, сборную из коротких тру-

бочек, которые вставлялись друг в друга и засовывались в тент. Эта узкая раскладушка казалась не очень удобной, но зато помещалась в рюкзак. И вот мы взяли с собой палатку, раскладушки, ещё там что-то из одежды – сели на поезд и поехали в Севастополь.

Приехали, расположились на берегу. Я поставил палатку, в ней разложили раскладушки, тут столик маленький соорудили между ними – и так жили. Рядом море, солнце, полно отдыхающих. Некоторые ночами спали на берегу на раскладушках, вообще, безо всякой палатки, просто натягивали плёнку на шестах. Стояла жара, море нагрелось, а мы сразу же загорели и сгорели. Приходила Люсина мама, приносила нам готовые обеды, ягоды. Две недели пролетели быстро, и нам с Люсей надо было уже возвращаться обратно, заканчивался её короткий отпуск на работе. Мы собрались, и её мама проводила нас на поезд Севастополь – Москва.

Едем в поезде, смотрим в окошко, и вдруг поезд тормозит у какой-то маленькой станции, называется Бахчисарай. За окном – невысокие горы, холмы. Поезд немножко постоял, тронулся, а какая-то женщина говорит своему спутнику в соседнем купе: вот за этими холмами есть дом-интернат, где живут инвалиды войны, которые воевали тут, в Крыму.



На берегу Чёрного моря

А я совсем этого как-то не знал, я думал, что инвалиды войны живут только на Валааме (так мне и Кибрик говорил, что их всех собрали в одном месте). И вдруг услышал, что на другом конце России, оказывается, тоже есть дом-интернат. Я Люсю спрашиваю: ты слышала, что сказали? Тут тоже есть дом-интернат, и я должен туда попасть. – Она шутит: ну прыгай с поезда, иди. – Я говорю: как я без бумаги, без ходатайства...

Приехали мы в Москву. А я уже понял, что надо идти в управление социального обеспечения, им, наверно, подчи-

няется этот дом-интернат. Узнал адрес в справочном бюро, прихожу, объясняю... так и так, я художник, рисовал инвалидов войны на Валааме, теперь случайно узнал про Крым. – А мне говорят: да это не только в Крыму, таких домов-интернатов у нас – чуть ли не в каждой области. – Я удивился. как? – Ну так. После войны остались миллионы инвалидов, и они почти все скитались непристроенные. И тогда Сталин отдал приказ – обеспечить их жильём, питанием, лечением, чтобы они не бродили по улицам. Это же всё защитники Родины, у них ордена, медали, и благодаря им мы живём. (Это мне в беседе говорят.) И тогда просто взяли карту Советского Союза и расчертили её вдоль и поперёк такими квадратами. И в каждом квадрате решили открыть дом-интернат. Если район большой (как, например, Омская область – от Казахстана до Карского моря), то туда попадало несколько квадратов и должно быть несколько домов инвалидов. Если маленькая область, то там создавался один дом-интернат. И такие интернаты у нас существуют до самого Сахалина.

Я спрашиваю: а я могу к вам приходить, чтобы вы мне показывали на карте, где находятся дома-интернаты, и называли имя-фамилию директора? Мне потом от Союза художников будут писать письма, чтобы меня там принимали и кормили, за мой счёт, конечно. А я буду рисовать инвалидов войны и потом показывать на выставках. – Эти инспектора мне говорят: пожалуйста, мы не против. Если хотите в Бахчисарай – можем вам прямо сейчас дать фамилию директора

и точный адрес. А если хотите, мы сами туда позвоним. – Я отвечаю: нет, пока не надо, пока я сам точно не знаю, когда поеду.

Те карандаши, которыми я рисовал на Валааме, не очень годились для длительной работы. Вообще, карандашный рисунок приятен тогда, когда он свежий, когда штрих не замыленный, не затёртый, а легко лежит на бумаге как бы без переделки – вот тогда рисунок производит хорошее впечатление. Когда же его затираешь – то стираешь, то снова рисуешь и опять стираешь – тогда уже смотреть тяжелее. У меня хороших карандашей не было, нигде они тогда не продавались, и я стал думать, где же их достать. И тут я вспомнил, что давным-давно, когда ещё мы жили в Омске, а я только готовился к художественной школе, отец ездил в Москву и со съезда художников привозил мягкие чешские карандаши «Кохинор» (не то им дарили, не то он сам там покупал). А на 1-й Брестской, где я раньше жил несколько лет, рядом находилось большое, роскошное сталинское здание чешского посольства – во дворе за высоченной узорной решёткой там росли ели и струились фонтаны. И я думаю – схожу-ка я туда, поговорю насчёт карандашей.

Пошёл. Спрашиваю на входе: можно поговорить с вашим представителем по культуре? – Мне отвечают: конечно, проходите туда, в комнату. Я прошёл, сижу, жду. Входит худенькая женщина и несёт с собой две бутылки пива – какие-то необычные чёрные узорные бутылки с нарядной куколкой на

крышке у горлышка. И эта женщина достала бокалы, наливает мне пиво и говорит слегка с акцентом: вот, пейте пиво, что вы хотите? – Я отвечаю: знаете, я начал рисовать инвалидов войны, уже работал на острове Валаам. Но мне не хватает черноты в моих рисунках, я не могу добиться своими карандашами той силы темного штриха, которая мне нужна. А я знаю, что у вас в Чехии есть фабрика «Кохинор», где такие карандаши выпускают, и они славятся на весь мир.

Она так смотрит на меня, слушает, а я ей про Валаам рассказываю, про инвалидов без рук, без ног. И вдруг она как заплачет – слёзы просто ручьями полились у ней. Сидит так, голову опустила, глаза закрыла рукой, и эти слёзы капают прямо на стол, на руки. И она говорит: знаете, у меня родители погибли в концлагере, у нас тоже есть инвалиды войны. Конечно, я вам помогу. Позвоните мне через неделю, я свяжусь с этой фабрикой в Праге и договорюсь. Она вытерла слёзы, напоила меня пивом, и мы с ней расстались.

Через неделю я ей звоню, она говорит: приходите со своей женой. Я Люсе объявляю: нас приглашают в чешское посольство. Приходим. А в это время там был какой-то большой приём, и охранник нас не пускает: туда нельзя, вы видите, сколько гостей (куда, мол, вы лезете?). – Я отвечаю: да мы не на приём пришли, нам нужна представитель по культуре (я забыл уже, как её звали). – Он говорит: сейчас я её позову. Пошёл. И вскоре идёт эта женщина, несёт два больших красивых пакета и подаёт их нам: это вам, а это вашей

жене. Извините, у нас там приём, я не могу поговорить с вами. Желаю успехов. В общем, мы с ней простились, с этой удивительной женщиной.

Приходим домой, Люся открывает свою сумку, а в ней – и какие-то бусы из дерева, и красивые браслеты на руку, и косынка, и колечки... в общем, вся чешская бижутерия.

А когда я раскрыл свою сумку – то там лежали коробочки чешских карандашей «Кохинор», чёрные грифеля «Хартмут», тоже в коробочках, потом сепия темно-коричневая, чистые грифеля, в общем, целая сумка. Я так обрадовался – этого же теперь мне хватит на несколько лет, потому что ещё в детстве я привык беречь карандаши. В школе ребята половину карандаша изрисуют и уже бросают. А я рисовал карандашом и чинил его до тех пор, пока уже не начинал пальцы свои резать бритвой. Совсем маленький кусочек оставался, а я всё ещё им рисовал. В детстве, после войны, эта бережливость выработалась от бедности, а такая привычка у меня сохранилась до сих пор. Помимо карандашей и грифелей в сумке оказались ещё резинки, клячки, может, это и был настоящий каучук? Когда его берёшь в руку, он сначала твёрдый. Но если его в руке сжимать, мять, то он становится податливый, как тесто. И им уже стирать не надо (если неправильно что-то нарисовано), его просто прижимаешь к бумаге, и карандашные штрихи исчезают.

Когда вопрос с карандашами решился, то я подумал о бумаге. На острове Валаам я рисовал на неплотной бумаге и

размер брал небольшой. А теперь я подумал, что в следующий раз нужно взять планшет побольше и бумагу поплотнее. Я сделал новый планшет, пошёл в наш киоск для художников на улице Горького и купил там целую пачку отличного финского картона «хром-эрзац». В планшет с собой я положил несколько листов, остальные оставил дома.



Прибытие в Бахчисарай

И вот, снаряженный таким способом, я направился в Бахчисарай. (В отделе социального обеспечения мне дали необходимые сведения об интернате в Бахчисарае, и референт по

графике напечатала туда просьбу от Союза художников России.) Приехал. Познакомился с директором. Поселили меня тут же, на территории, питался я в столовой. Этот дом-интернат был небольшой, стояли два отдельных одноэтажных здания, а рядом находилось ещё женское отделение, где лежали женщины с повреждёнными позвоночниками. Прежде чем рисовать, я обошёл весь интернат, инвалидов войны там оказалось уже немного.

Располагался интернат недалеко от самого города Бахчисарай с дворцом, о котором писал Пушкин в «Бахчисарайском фонтане», фонтане слёз. В этом сказочном бахчисарайском дворце-гареме с зарешечёнными стенами теперь находился музей, туда водили экскурсии по мосту, переброшенному через маленькую речку. На минаретах сияли полумесяцы, тут же рядом находилось и мусульманское кладбище. От наших кладбищ оно отличалось тем, что вместо крестов на могилах у мусульман стояли небольшие каменные стелы с надписями, кто находится в могиле. А сверху из мрамора высекался большой тюрбан, который носили на голове татарские мурзы, или придворные, или учёные люди. И тюрбан этот делался так тонко, что камень казался просто мягкой тканью.

А во дворце, конечно, демонстрировались свои красоты – резьба, узоры. У мусульман запрещено изображение человека. И весь талант художников направлялся на фантазирование и придумывание различных узоров. Узорами покрывали

не только стены, потолки, двери, полы, но узоры вырезали также на столах, на стульях, на предметах обихода, на чернильницах – на всём. И даже сам Коран, все его страницы часто украшались этими узорами.

Природа там тоже отличалась от нашей, среднерусской. Вдоль улиц росли пирамидальные тополя, которые тянулись высоко-высоко к небу и там уже заканчивались тоненькими веточками. Сами холмы были не земляные, а каменистые, сложенные из огромных валунов – от ветра, солнца и дождей они стали уже как бы гладкими, и по ним проходила дорога.



Вход в медресе

Дорога постепенно тянулась вверх и там раздваивалась. Одна часть продолжалась по правой стороне ручья, а другая переходила на левый берег и заканчивалась небольшим плоскогорьем, на котором располагался дом-интернат. Сам дом-интернат – это современные строения, но на его территории стояли два старинных каменных здания. Одно могло являться старой мечетью, внутри там были какие-то красивые каменные колонки, пилонь, раковины, выложенные камешками голубого цвета. А другое здание, бывшее медресе (школа для изучения Корана), не имело крыши. Вход туда шёл через стрельчатую арку, в проёме которой висела тяжёлая цепь. Но цепь спускалась не до пола, а специально была поднята на расстоянии примерно пояса, то есть, чтобы попасть внутрь, приходилось наклоняться. Человек нагибался, подлезал под эту цепь и в таком полусогнутом виде появлялся внутри здания. В этом медресе без крыши теперь работала столярка, где делались гробы, тут же они и хранились, а рабочие в перерывах пили пиво и вино, сидя на этих гробах.

Глава 49

31 января 2006 г.

Окрестности Бахчисарая. Пещерный храм. Чуфут-Кале. Прекрасная поэзия. Портрет обожжённого юноши. Брошенные дети. Защитник Сталинграда. Неуравновешенный Лукин. Старый воин. Плагиат. Юбилейная выставка. Работа в Омской области. Поездка в Армению. Ахтанак.

Ночь двадцать восьмая. Справа от дороги, которая шла вверх по ущелью, в каменистом откосе монахами православной веры в старину была вырублена лестница, она вела к вершине протяжённой скальной возвышенности. Как-то уже ближе к вечеру я туда полез. Вершина оказалась плоская, пологая, покрытая травой и простиралась очень далеко, как бы скатывалась к долине, где стоял уже Бахчисарай, жили люди и ходили поезда в Севастополь. В общем, природа там была настолько разнообразной и контрастной, что, находясь наверху на этом плоскогорье, например, никогда не скажешь, что рядом тут прячутся отвесные скалы и глубокие рвы.

Примерно посередине этой скалы (если забираться по лестенке) располагался пещерный храм, который вырубili монахи. В каменных стенах храма были устроены ниши, видимо, раньше там стояли книги, лампадки, может быть, какая-то монастырская утварь. На некоторых стенах проступа-

ли подобия росписей на тему Евангелия, конечно, от времени они почти стёрлись. В этих местах находилось много разных туннелей, вырубленных в скалах келий, арочных переходов — когда-то здесь жили, молились, умирали. В одном месте я там неожиданно увидел гроб на цепях на чугунных столбах, прямо как у Пушкина в «Руслане и Людмиле» (может быть, он тоже здесь на него смотрел). Но самое любопытное, что гроб находился почти на краю откоса, и я удивился — как до сих пор хулиганы его не сбросили вниз, потому что никакого ограждения не было на краю этого глубокого откоса, под ним в долине располагался уже Бахчисарай. Если же спуститься по этой лесенке ниже и пройти немного в сторону, то там начиналась ореховая роща, где росли дикие орехи, которые никто никогда не сажал. Всё это, конечно, фантастично и сказочно. Вообще природа там очень богатая, эти высокие скальные откосы укрывали от ветра, и поэтому там всё росло, цвело и благоухало.



Ночные видения

Если перейти на другую сторону небольшого ручейка, то там начинался Чуфут-Кале, это древний иудейский город. И вот, можно сказать, на таком маленьком пятачке встречались сразу три религии. Стены этого Чуфут-Кале представляли собой естественные совершенно отвесные скалы, а с одного края город выходил прямо к дому-интернату, как бы нависая над ним в вышине острым краем скалы, похожим на нос корабля. Однажды уже ночью я стоял и смотрел на эту тёмную скалу. По ночному небу плыли облака, их освещала яркая луна, и я почувствовал испуг, когда вдруг этот чёрный массив скалы стал двигаться на фоне неба, звёзд и луны. И только усилием воли я заставил себя понять, что это плывут облака, а скала стоит на месте. Вот такой происходил обман зрения, что даже страшно.

В этот город Чуфут-Кале я тоже ходил. По крутому каменистому откосу туда вела единственная тропинка между камней, по ней в далёкие времена двигались и жители, когда покидали город и возвращались обратно. Тропинка поднималась выше, выше и упиралась в деревянные ворота. Когда-то привратник открывал замок, жители входили, и он снова закрывал дверь на замок (как будто какую-то квартиру). Эту единственную деревянную дверь украшали и укрепляли широкие ленты железа, пробитые гвоздями с огромными шляпками, а дверной проём и стены уже были из камня.

За этими воротами дорога опять шла в гору, потом заворачивала, и человек попадал в этот древний город. По правую сторону находилось еврейское кладбище. Тяжёлые каменные надгробия вообще невозможно было сдвинуть с места. На наших кладбищах мы привыкли видеть рядом старые и новые надгробия на могилах. Но там места не хватало, и новые надгробия помещали поверх старых, то есть к самым старым надгробиям уже нельзя было добраться, виднелись иногда только их части. И всё это покрывал серый и тёмно-зеленый слой мха, а само кладбище окружало небольшое количество деревьев.

В самом городе уже деревья не росли, а дорога шла между остатков каменных домов со следами дверных проёмов и окон. Земли не было совсем, кругом одни камни, дорога проходила тоже по камням. И оттого что телеги с большими колёсами когда-то ездили по одному и тому же месту, колея углубилась настолько, что казалось, будто по камням этим прошёл мощный плуг. Стояла одноэтажная старинная синагога с колоннами, выступающими прямо к самой дороге, снаружи на её стенах были вырезаны какие-то еврейские слова. Трудно представить картину, когда тут кипела жизнь.

Среди этого моря разрушенных еврейских домиков и улиц возвышалось одно целое здание. Это была усыпальница татарской девушки, которая против воли родителей убежала с возлюбленным. Их поймали, разлучили и её привезли сюда, потому что отсюда никуда не убежишь. Тогда эта девуш-

ка с отчаяния бросилась с обрыва и разбилась насмерть. И отец, который её очень любил, построил для неё вот эту усыпальницу. Так на бывших еврейских местах оказалась мусульманская усыпальница.

Хотя город Чуфут-Кале считался совершенно безлюдным, но одна живая душа там присутствовала. Это был чуть ли не девяностолетний караим, который находился там в качестве хранителя – открывал двери для любопытных туристов. В свободное время он писал историю города Чуфут-Кале, которую, видимо, хорошо знал. Но на каком языке он писал и дописал ли он её до конца – мне неизвестно.

Арбы на колёсах не могли проехать через эти узенькие ворота. Дальше там, на плоскогорье, находились ещё одни ворота пошире, которые тоже открывались и закрывались, а за ними уже шла равнина. Все эти древние камни, конечно, производили необыкновенное впечатление, это была сама история. Они прочно веками стояли на своих местах, никто их не мог никуда переместить, никакие природные катаклизмы не повлияли на них, не сдвинули с места. И всё это как-то прожарилось на солнце и оплелось диким плющом, который тут никто никогда не рвал.

Если выйти на другую сторону города Чуфут-Кале, то там откосы стены заканчивались каменными бойницами, где раньше дежурили солдаты, наблюдавшие за дорогой и за соседней долиной. А в соседней долине опять стояли отвесные скалы с плоскогорьем наверху, где находился уже другой го-

род с другим названием. А ещё дальше – ещё один город, их было городов семь, наверно, в этом районе Крыма.

Удивительные картины, просто удивительные, потому что я видел это впервые, и всё производило необыкновенно сильное впечатление. Казалось, что каждый камень был как бы одомашнен прикосновениями рук тысяч людей, которые там жили веками. Сами эти камни, возможно, падали когда-то с откосов, потом застывали в разных позах и оставались жить такими валунами. Теперь между ними паслись козы и бегали дети – играли, кричали, прятались, смеялись. Очень вольно текла жизнь на этих скалах.

Потом, когда я уже стал рисовать своих инвалидов войны, я как-то зашёл в женское отделение. Смотрю – на кровати в кожаном корсете лежит девушка с необыкновенно красивым, одухотворённым лицом, по-моему, её звали Оксана. Вокруг лежали старые женщины, тоже больные, неподвижно прикованные к кроватям. А в углу этой большой палаты стояли пустые деревянные гробы. И получалось, что эти несчастные больные видели конец своей жизни, как бы будущее смотрело на них из угла этими гробами. Девушка эта тоже не могла двигаться, но у неё была коляска, на которой её иногда вывозили гулять, а на столике рядом с её кроватью лежала тетрадка и карандаш. Я её спрашиваю: а что это за тетрадка? – Она отвечает: я в ней пишу стихи. – А можно почитать? – Бери, читай, говорит.



Недуг и творчество

Я открываю, а там написано:

Дети играют на скалах, громко их смех раздаётся,
Эх, познакомьтесь б с малым, с тем, что всех громче
смеётся...

Я был потрясён. Остальные стихи тоже были такие же искренние, глубокие. Я взял у неё тетрадку эту и весь вечер переписывал её стихи для себя. И потом, когда мне становилось грустно, я доставал эти стихи, читал, вспоминал эту

девушку и думал – ну что я... ну что? Разве мне плохо? Вот кому действительно тяжело.

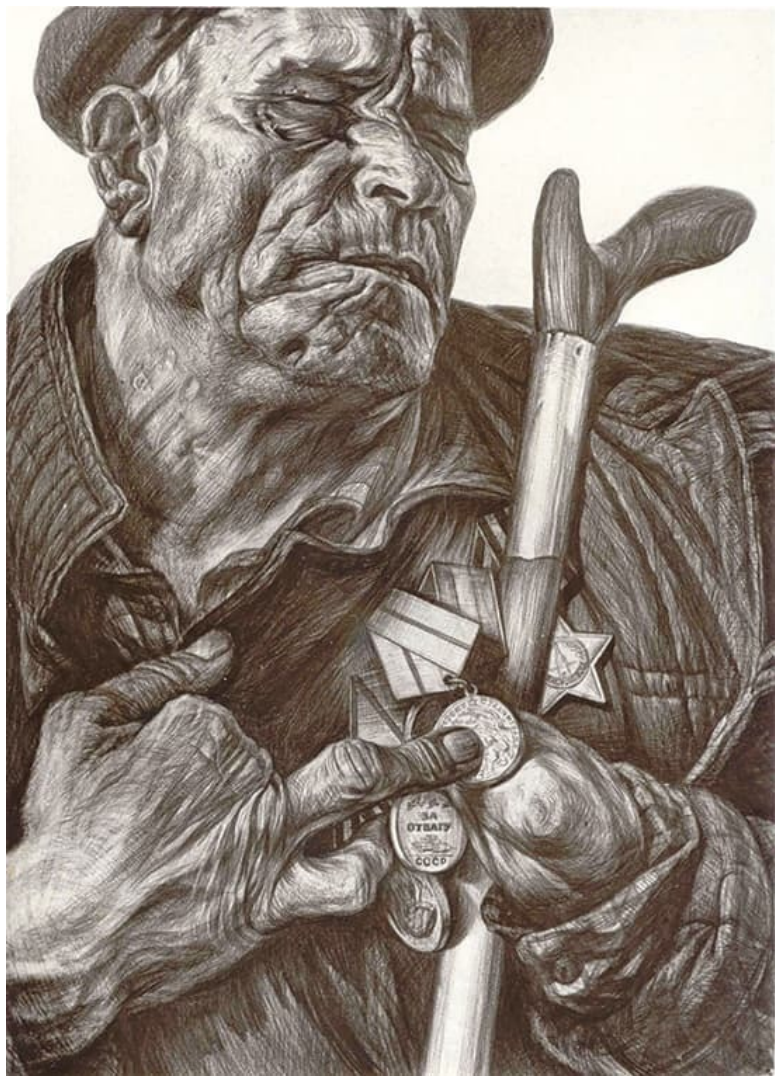


Мальчик-еврей, сирота

В Бахчисарае я сделал несколько рисунков, и каждый рисунок являлся рассказом, я хотел как бы передать в рисунке всю жизнь этого человека. Я увидел обожжённого мальчика – и лицо, и шея, и грудь, и руки – всё у него было в рубцах, одна рука даже скрючилась от ожога. Я его начал рисовать (как образ пострадавшего от войны). Потом он пошёл обедать, приносит булку с маслом и протягивает мне: это вам. – Я удивился: да зачем мне, это же тебе дали. – Он говорит: нет, я не хочу, кушайте, пожалуйста. А я уже отвык от заботы, мне приятно так стало. На другой день приходит позировать и несёт маленький мешочек конфет. И опять мне отдаёт: берите, берите. Ой, я просто поразился, думаю – откуда в таком изувеченном мальчишке столько доброты? Казалось бы, он должен обозлиться на весь мир за то, что он такой.

Потом я зашёл в другое отделение этого дома-интерната, детское, там находились брошенные дети. И эти дети как набросились на меня... Один обнимает, кричит: ты мой папа, ты мой папа! Ты пришёл! Как хорошо, что ты пришёл, я тебя так долго ждал (вцепился в меня ручонками). Другой мальчик с другой стороны тоже пытается меня обнять: нет, это мой папа, это мой папа, он ко мне пришёл... папа, ты возьмёшь меня домой? И другие тут сжимают меня со всех сторон. Все кричат: ты мой папа, ты хотел прийти, ты пришёл, давай поедem с тобой домой. Я просто не мог, думаю – как

же я вырвусь от них? Ой, так тяжело было на них смотреть, на этих детей. И всем им казалось, что я их возьму и мы куда-то поедем.



Рассказ о медалях. Там был ад

Но я искал, конечно, инвалидов войны. Вначале я нарисовал одного слепого инвалида, которого привезли из Калининграда. Он имел несколько медалей, и одна из них за оборону Сталинграда. Я его спрашиваю: за что эта медаль? И он её стал нащупывать. На одной руке у него вообще пальцев не было, просто культя, а на другой руке – всего три пальца. И вот он култышкой снизу приподнял медаль на груди, а пальцем другой руки водит по этой медали, щупает рельеф и говорит: это за Сталинград, там был ад. (Я так и назвал рисунок «Рассказ о медалях. Там был ад».) Сам он слепой, смотрит в сторону, клюшка тут у него, он её прижал, чтобы не упала. И вот в такой позе я его нарисовал сепией, подаренной мне в чешском посольстве.

За этим инвалидом по фамилии Забара (украинская) ухаживала женщина по имени Таня, она его очень любила, помогала ему и ревновала его к санитаркам, которые приходили в палату во время обеда убираться. (Из-за слепоты Забара оставался в палате.) И эта Таня не находила себе места – и волновалась, и заглядывала в окна, и постоянно говорила: наверно, он там с ней целуется, наверно, она его обнимает (то есть санитарка). На руке у Тани синими чернилами был выколот номер. Я спрашиваю: Тань, что это за номер? – Она отвечает: я была в Освенциме, и это мой лагерный номер (он из шести цифр состоял). Когда я через несколько лет рисо-

вал в Освенциме, мне сказали, что все узники с двух- и трёх-значными номерами погибли, а вот уже узников с большими номерами Красная армия успела освободить.

Я спрашиваю: Таня, как ты там, в Освенциме, жила? – Она говорит: ну, мы были молодые, и на некоторые очень тяжёлые работы я отказывалась ходить. Тогда мне на шею надевали железную дугу и на крючки спереди вешали дощечку с надписью «саботаж». (И я её нарисовал с такой дощечкой в виде психически больной женщины, на голове у которой венок из колючек.) В Бахчисарае росли интересные цветы с шипами. В природе они представляли собою большие колося с листьями, а наверху заканчивались засохшими колючими шарами. Несколько штук их я привёз в Москву, и они у нас потом долго стояли. Не знаю, может быть, и сейчас стоят где-то дома.



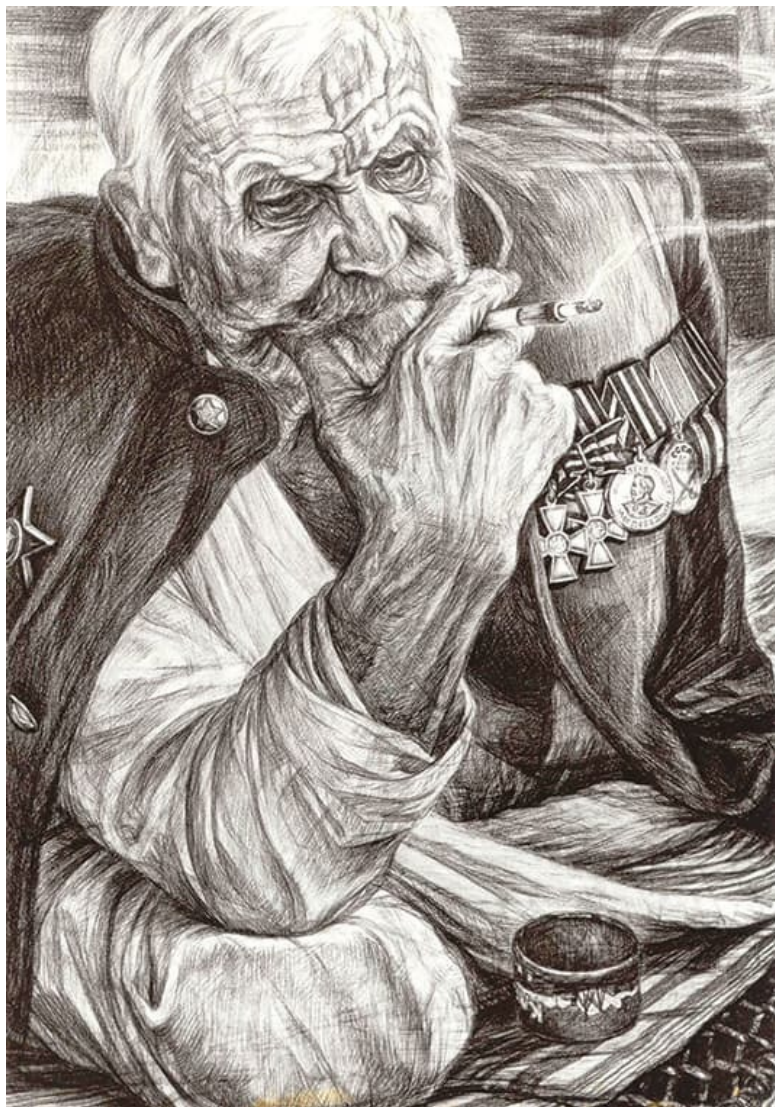
Я храбро бился

В корпусе там находилась отдельная палата, на дверях которой висела табличка «Здесь живут инвалиды войны» – белая такая картонка, а сверху ещё её закрыли стеклом. Но кто-то, видно, так сильно ударил по этому стеклу, что оно разбилось, мелкие части выпали, а крупные так и остались торчать под разными углами. Я посмотрел, думаю – да, действительно тут живут инвалиды войны. И я начал рисовать инвалида по фамилии Лукин. Тело его до пояса держал металлический корсет, покрытый кожей, только благодаря корсету он мог находиться в вертикальном положении и держать голову. Трудно представить, как он себя чувствовал, закованный постоянно в эту броню. Лицо у него выглядело сурово, сам он вёл себя очень нервно, неуравновешенно, частенько выпивал, отчего, видимо, в палате происходили ссоры (там все инвалиды имели тяжёлые контузии).

Я его спрашиваю: а почему у вас тут все стёкла побиты – и на дверях, и на ваших очках? (У него в очках не было одного стекла.) – А он мне вдруг отвечает: да негодяй тут один живёт, сил нет. Ты можешь купить мне бутылку вина? Пришлось покупать – пошёл, купил в палатке за воротами ему вина. Вот он взял эту бутылку в руку, сидит, попивает по глоточку и жалуется (а я рисую). Говорит: койки наши рядом тут в палате, и этот сосед постоянно мне шпильки всякие норовит вставить.

На другой день прихожу после обеда рисовать (так договорились), а он опять в возбуждённом состоянии, кричит: не могу больше с этим негодяем находиться в одной палате. — Я говорю: кто он? Покажи мне его. — Да вон на койке. Я захожу, смотрю... сидит слепой инвалид, облитый супом — в волосах вермишель, рубаха сырая, а сам даже не может руками двигать, они парализованы у него. Я Лукина спрашиваю: зачем ты это сделал, он же совсем беспомощный. — А пусть он не говорит, что я не был партизаном, что я притворяюсь, я и сам вон как контужен. Но теперь будет молчать. (Вот такие бои продолжались там в мирное время.)

Потом я зашёл в другую мужскую палату, настолько большую, что кровати там стояли и вдоль стен, и посередине рядами, и по-всякому. Кто-то лежал, стонал, кто-то разговаривал сам с собой, как в бреду. А в углу сидел необыкновенно толстый мужчина тоже с номером на руке, выколотым в концлагере. Он всё время ел, хотя тело у него уже было как гора. Увидел меня и начал просить: нет ли хлеба у тебя, кушать хочется, я голодный. И я понял, что у него, видимо, с концлагеря остался инстинкт голодного человека, что у него просто исчез синдром насыщения.



Старый воин

Я подошёл к другому пожилому инвалиду. Он был без обеих ног, прошёл несколько войн, оказалось, что ему уже девяносто лет. На кителе у него висели и ордена, и медали, и георгиевские кресты ещё за Первую мировую войну. Он сидел на кровати, курил, смотрел задумчивыми глазами, имел большие крестьянские руки с мощными пальцами и выглядел ещё довольно бодро. Я его нарисовал и назвал этот рисунок «Старый воин». Этот рисунок много раз показывался на выставках и печатался в прессе.

Но не всегда это участие в выставке приносило мне радость. Однажды я столкнулся с чудовищной недобросовестностью художника. Несколько лет назад приходим мы с Люсей на республиканскую выставку в Дом художника на Крымской набережной (у меня там висели работы), а в вестибюле лежит пачка бесплатных газет «Совершенно секретно». И прямо на всю первую страницу напечатан этот мой портрет «Старый воин». Мы, конечно, обрадовались, взяли на память несколько газет. Идём дальше, поднимаемся по лестнице в числе многочисленных зрителей, и прямо тут, у лестницы, в разделе плаката висит опять мой «Старый воин», стилизованный под цветной плакат (художник из Тулы «смастерил»). Всё сохранено – мой инвалид без ног сидит, курит, ордена при нём, но фантазия автора превратила защитника Родины в уличного попрошайку, что было совер-

шенно неприемлемо для меня. Эта наглая дешёвая публицистика (да ещё с откровенным плагиатом) совершенно испортила нам настроение. Но тут уже и музыка, и речи, и торжественное открытие выставки – и так я ничего не предпринял, и потом мы ушли.



Плакат-плагиат

Когда я работал над этой серией, заработка у меня никакого не было, а Люся посылала Нине алименты со своей зарплаты и содержала дом. Но когда я поступил в Союз художников, то скоро узнал, что один раз в год можно просить творческую помощь. У нас тогда в Москве существовало три творческих союза – Московский Союз художников (где давали творческую помощь от 70 до 100 рублей), потом я просил в Российском Союзе художников (там мне обычно давали 150 рублей). Но и этого мне было мало. И я шёл ещё в Союз художников СССР к первому секретарю Салахову Таиру Теймуровичу, подавал ему заявление, и он мне выписывал 200 рублей. Вот на эти деньги я мог разъезжать целый год. Но тогда как-то и билет на поезд стоил недорого, и даже на Сахалин я летал на самолёте, в общем, как-то я умещался в эту смету. Отец ещё изредка помогал, хотя к моим работам тогда он относился настороженно.

И вот в 1975 году отмечалось 30-летие Победы, юбилейная дата. Я принёс свои рисунки на выставку, он почему-то проходил на Фрунзенской набережной в мастерской Бориса Преображенского, который являлся председателем первичного выставкома и сам воевал. Когда я стал показывать свои рисунки, то там сразу поднялся невероятный шум. Художники, которые воевали, тоже принесли свои работы на этот выставком, и все они начали очень раздражённо выступать

против моих рисунков – как это так? Разве можно показывать инвалидов? Мы победили, а вы что рисуете? Но в то же время они не могли ничего сказать про качество рисунков, потому что рисунки были выполнены на высоком уровне. И тогда Преображенский говорит: будет две выставки – одна на Беговой, московская, а другая, всесоюзная, пройдёт в Манеже. Вы должны выбрать одну из них. Если вы хотите в Манеж, то тогда приносите работы на следующий выставком прямо в зал, там посмотрят и решат.

И вот в назначенный день я взял две работы, которые они отобрали как спорные, и принёс в Манеж. А там, как только увидели, сразу – нет, нет, что вы, что вы, зачем пугать народ, у нас праздник, у нас юбилей, у нас День Победы, а не поражения. Нет, ни в коем случае. Забирайте обратно.

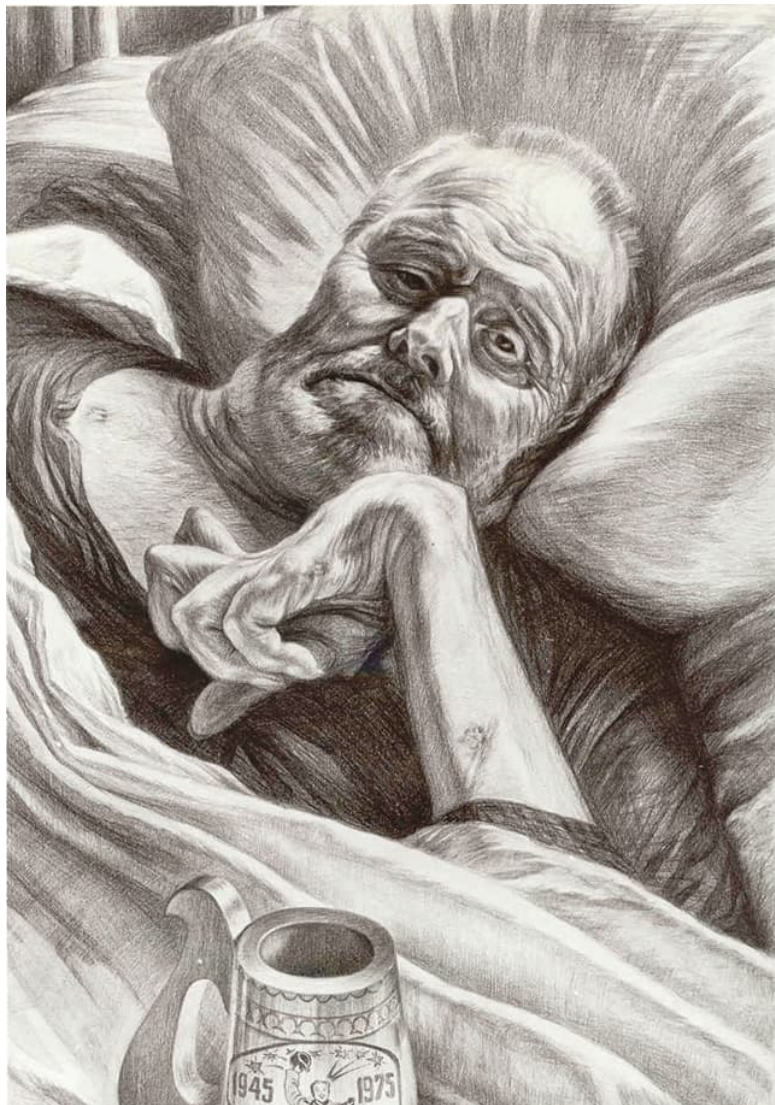
Но мне очень хотелось показать своих героев, я был убеждён, что они это заслужили, и я снова пошёл к Преображенскому, объяснил... так и так, ничего у меня там не приняли. – Он говорит: ну ладно, давайте вот эти два рисунка возьмём и повесим их в зале на Беговой.

Так они и сделали. В одном из залов на Беговой во втором ряду повесили два моих рисунка, которые я делал ещё на Валааме. И тут я заметил одну особенность – мои рисунки сделаны как серия, как работы, которые дополняют друг друга. Они не повторяются, но развивают тему. Это как в симфонии, например, идёт одна тема, но она звучит в разных вариантах, с вариациями – и эти вариации обогащают тему,

делают её более интересной, незабываемой, неповторимой. И я понял, что отдельные рисунки (один или даже два) производят не такое сильное впечатление на зрителей, как если их пять или шесть рядом. То есть когда рисунков много, они действуют сильнее. И я решил продолжать эту тему дальше.

Меня всегда тянуло в Омск, на свою родину. И я думал, что если я где что и сделаю сильное, стоящее – то это в Омске, потому что там я родился, там я, маленький, бегал на речку, бродил по всем закоулкам, по крышам, там мне всё казалось близким, пережитым и родным. И я был уверен, что обязательно найду там инвалидов войны, потому что ещё в детстве я их видел на базаре и на улицах города.

Я приехал в Омск, пришёл в отдел социального обеспечения и спрашиваю: где тут у вас дома-интернаты для инвалидов войны? – А мне отвечают: у нас здесь несколько домов-интернатов. – Я говорю: вы мне напишите их все, может, я потом ещё приеду. Они мне написали. Один был в Омске. Второй находился в селе Такмык, это надо плыть на север по Иртышу на теплоходе или на автобусе ехать вдоль берега. Третий располагался ещё севернее, в селе Тара, тоже на Иртыше и тоже в глухомани. А четвёртый оказался южнее Тары, в селе Атак, там уже тайга начиналась и сохранились остатки лагерей.



30 лет быть прикованным к постели

Я начал с Омска. Пришёл в этот Нежинский дом-интернат, который состоял из нескольких деревянных одноэтажных барачков. Инвалиды в палатах жили так скученно, койки так близко стояли друг к другу, что невольно подумал – как же тут рисовать? Там находился один инвалид войны, Гусельников, который тридцать лет лежал на кровати не двигаясь – он имел ранение в позвоночник, и у него была перебита рука. Я прислонил свою доску к его кровати, а сам присел на соседнюю койку, где лежал инвалид с огромной грыжей между ног, очень тяжёлый и неопрятный. И вот в таких условиях я работал несколько дней. Конечно, уже никто там не мог пройти, потому что я всё загородил.

Как-то выхожу из барака, смотрю – во дворе собрались инвалиды, хотят выпить. Но двое пьют из стаканов, а у третьего трубка трахеостомическая стоит, то есть дышать самостоятельно не может, но выпить хочется. И товарищи ему тогда нашли воронку с длинным шлангом, сунули ему шланг в рот и в эту воронку наливают водку. Он так стоит, рот раскрыл, а водка течёт ему прямо в желудок. Ну, картина просто незабываемая.

Потом я поехал в Тару. Там я сделал очень интересный рисунок «Предупреждения безумного» (сперва я называл его «Русский пророк»). Позировал тоже инвалид войны, психически больной, необщительный. Получился мощный анти-

военный рисунок – как бы человек из своего безумного состояния предупреждает зрителей, показывает, к чему приводит война.



Предупреждения безумного

К этому времени я уже чётко осознал, что мои рисунки являются не военными, не прославляющими армию, а, наоборот, антивоенными. И я стал тогда понимать, почему их не хотят брать на выставки. Антивоенную тему у нас никто никогда не разрабатывал, а выставки формировались всегда так, что прославляли армию, её подвиги и победы. И, конечно, мои антивоенные рисунки всех пугали, всех приводили в какое-то замешательство, и я чувствовал, что дело даже не во мне. Если бы эти работы сделал другой какой-нибудь художник, то и к нему было бы точно такое же отношение. И я знал, что мне не скоро светит признание моих рисунков, и я как бы уже настроил себя на то, что выставки не для меня.

Но я понимал, что бросать работу (если рисунки не берут на выставки) я не стану, что я должен нарисовать хотя бы 40 портретов. Из сорока портретов можно уже делать персональную выставку. Но, главное, я чувствовал, что я обязан их нарисовать, этих скромных защитников Отечества, судьба которых оказалась так безжалостна. Делать эти рисунки мне было интересно, я легко передавал естественность поз, разнообразие лиц, рук, одежды. И я видел, что каждый рисунок получается другим, чем предыдущий, непохожим на все остальные. Забегая вперёд, скажу, что в общем я потратил на работу над этими рисунками шесть лет – с 74-го по 80 год.

Из Тары я поехал в глухое село Такмык Омской обла-

сти. Туда вела широкая пыльная дорога, там уже начиналась степь и стояли небольшие, просевшие в землю избушки с низенькими окнами. Приехал в Такмык, мне отвели место – поставили раскладушку на сцене давно закрытого клуба. В углу сцены я нашёл целую гору историй болезни инвалидов войны, которые здесь жили раньше, и от нечего делать стал их листать. И вот смотрю – и в одной истории болезни «сифилис...», и в другой истории болезни «сифилис, 3-я стадия, заразный...» – во многих историях болезни был записан этот страшный диагноз. И я неожиданно осознал, сколько же тяжёлых испытаний подстерегало людей на войне ещё и из-за долгого расставания с семьёй. Все подробности сохранили эти старые пожелтевшие странички – о заразных болезнях, о ранениях, об увечьях на всю жизнь...

Я стал рисовать инвалида без обеих ног. Но в палате там темно, домики одноэтажные, и я предложил: давайте рисовать на веранде, там светло, а если дождь пойдёт, то мы под крышей, нас не намочит. – Он говорит: ну давай.

У него была четырёхколёсная низенькая колясочка, на которой он передвигался. И вот он её подставил под руку, опёрся на неё, в другой руке у него сигарета, и он задумался – чувствуется, что человек прошёл долгий путь, что он устал и решил отдохнуть. На груди у него здесь медали, ордена, есть иностранные. Я так и назвал эту работу «Отдых в пути», удачный получился рисунок. Тут уж я использовал эти чешские карандаши во всю силу, во всю мощь – там и чёр-

ные пятна, и серый тон пиджака, и тёмный силуэт на светлом фоне. Пока я рисовал, мы, конечно, разговаривали, он о себе рассказывал, вспоминал войну.



Отдых в пути

Я спрашивал: а этот орден за что? А этот? – Он отвечал: этот за Венгрию, этот за Будапешт... ой, говорит, в Венгрии я почудил. Я шофёром был, приехали – всё растёт, всё цветёт, яблони там и в каждом дворе, и на улице. Ветви с яблоками свисали чуть ли не до середины улицы. Вот, говорит, подъезжаешь – и задним бортом как ударишь прямо по этой яблоне – и яблоки все в кузов сами сыпятся, спелые крупные

яблоки. Так вот жили весело. Война, говорит, это не только страдания каждый день. Если бы только страдали – никогда бы не победили, дух ещё у солдат был очень весёлый. Мы, говорит, даже когда отступали, ни на минуту не сомневались, что пойдём снова вперёд. Никогда не сомневались. Если отступали – значит, так надо, Сталину виднее, что делать. Солдаты верили в Победу даже в самое трудное время, и поэтому дух армии был очень сильный. А уж когда начали наступать, то там и вообще всё с песнями.

В перерыве я выходил во двор, мне хотелось посмотреть, как там другие люди живут. Вышел как-то, прошёл немножко, смотрю – у другой двери барака сидит какой-то мужчина с огромной головой, чуть ли не такого же размера, как тело, – лицо маленькое, а череп большущий. Там перед ним друзья сидели, все разговаривали, вроде ничего особенного. Меня, конечно, ограничивала работа над определённой темой. И это же заставляло следить за мной начальство, директоров домов-интернатов. Они боялись, чтобы я кого-нибудь ещё не стал рисовать, и знакомили меня только с инвалидами войны.

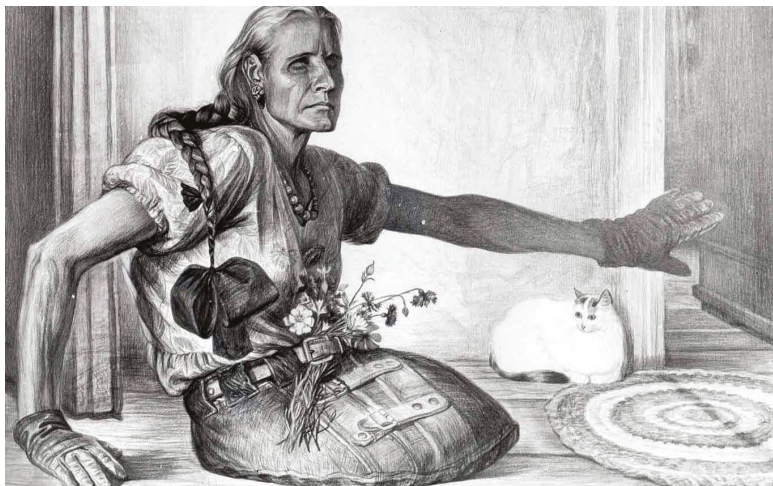
Но я не сразу понял, что, рисуя бывших солдат, я показываю только одну часть инвалидов войны, скажем, активную часть. Но ведь была ещё и пассивная часть инвалидов войны, например, женщины, которые тоже стали инвалидами во время войны, хотя они и не воевали. Они находились и в оккупации, и работали самоотверженно в тылу, и теряли детей

от голода и болезней (как моя мать, например, похоронила троих своих малышей в войну). Они являлись уже страдающей стороной с психическими и физическими расстройствами. В общем, я решил, что инвалиды войны в моих работах должны присутствовать и как участники сражений, победители, и как жертвы войны среди мирного населения. И эти жертвы по своей художественной выразительности должны вызывать не меньше сочувствия и не меньше протеста против войны, чем сами образы участников боёв. Это решение приходило постепенно, от рисунка к рисунку. То, как я думал год назад, теперь дополнялось какими-то новыми нюансами, и работы получались очень разнообразные.

Когда я закончил рисунок своего инвалида, который отдыхает в пути, я поехал в село Атак. Это тоже очень глухое место, туда даже автобус не доходил. Я сошёл с автобуса и потом шёл ещё дорогой по заливным лугам. Дорога наконец привела меня к дому-интернату. Один из барачков там был административный, для бухгалтерии, и стояли ещё несколько барачков, где жили инвалиды. К директору я пришёл уже уставший, всё объяснил, спрашиваю: вы мне дадите какую-нибудь комнатку, чтобы я поставил туда свой рюкзак, рисунки и мог там спать? – Он говорит: а зачем вам спать где-то в комнатке, мы вам сейчас такие апартаменты дадим, что вы никогда нас не забудете.

И вот он ведёт меня мимо этих больных, которые с любопытством на нас смотрят, и приводит в отдельный домик

с верандой – новый рубленый охотничий домик. Открывает дверь, а там – и ковры висят, и красные дорожки на полу лежат, и стоит огромный телевизор, и какая-то необыкновенная посуда на столе. Я спрашиваю: а откуда вообще такая роскошь? – Он отвечает: это для гостей, которые к нам приезжают. Вы же тоже из Москвы, там у вас, наверно, знакомства везде? Ну, вот чтобы у вас сложилось хорошее впечатление о нашем доме, чтобы вы там потом рассказывали – мы вас будем тут обслуживать, будем приносить вам сюда кушать. Тут хорошо, тихо, уютно, никто вас не тронет (и продолжает мне этот домик показывать). А я уже как-то привык к инвалидам и думаю – ещё чего придумали, что это я буду здесь жить как какой-то господин, которого обслуживают. Я приехал к больным людям и не хочу себя противопоставлять им, я хочу, наоборот, быть к ним поближе, чтобы они не чувствовали во мне какую-то инспектирующую личность.



Возвращение с прогулки

Я говорю: знаете что, нет, не надо, я не хочу здесь, я буду стесняться. Лучше вы меня поселите в какое-нибудь место попроще, где бы я чувствовал себя свободно. — Директор так смотрит на меня и наконец соглашается: ладно, есть у нас комнатка похуже, намного хуже. И дали мне там какой-то закуточек. Я даже не помню, как я кушал там, в каких условиях спал, потому что я был очень увлечён самой работой. Там жила одна слепая женщина, инвалидка без обеих ног, торс её заканчивался кожаным мешком, который тёрся по земле, он держался на ремне на поясе. Опиралась она на руки в перчатках, чтоб не покорябать руки, и с такими трудностями передвигалась.

И вот я смотрю – она возвращается откуда-то с прогулки. На ней одета вышитая кофточка, а за пояс она засунула букетик полевых цветов. Сзади у неё росла длинная коса, которая оканчивалась огромным бантом. И я думаю... в таком положении человек остался – совсем без ног, не видит, но, оказывается, и так можно жить, и так можно ходить на прогулки, и так же радоваться жизни. Чаше плачут как раз те, у которых всё есть – и ноги, и руки, и квартира, и достаток, и семья, – а всё равно возникают какие-то истерики, недовольства, слёзы. А чем меньше у человека остаётся возможностей, тем он вдруг спокойнее становится и как бы даже радостнее воспринимает окружающую жизнь. Вот парадокс. Это я замечал и потом, в других ситуациях.

И вот я начал рисовать эту Валю. А в свободное время ходил по территории, наблюдал, как другие люди живут. Домики там все маленькие, находятся отдельно друг от друга, на расстоянии. И вижу как-то – стоит небольшой домик, и стук изнутри раздаётся, стучат в дверь изо всей силы с той стороны, а дверь закрыта снаружи. Думаю: кто же там стучит? Снял щеколду захожу туда, а там старые женщины – и стриженные, и с седыми волосами, человек, наверно, десять в одной комнате. Ходят – кто в длинной рубашке, кто голый, кто передвигается опираясь на табуретку (но там тесно, ходить особо негде). Деревянный пол из струганых досок, окна, печка. И вот одна из этих женщин стучала в дверь изо всей силы кулаками, чтобы кто-нибудь её открыл. Я понял,

что это душевнобольные, и ушёл, опять их закрыл.

И тут меня окликает какой-то парень, шёл следом за мной. Так смотрит на меня и говорит: а вам разрешали туда ходить? — Я отвечаю: да нет, я и не спрашивал никого. — Тут да нельзя ходить, здесь запрещено осматривать. Вот где вы рисуете, там и рисуйте, а больше никуда не ходите по территории. — Я говорю: ну ладно. — А он опять: у нас тут лагеря кругом были, интересные места, сохранились бараки, кладбища — хотите на смотровую вышку залезть? Я подумал, зачем это мне, я же за другим приехал, но согласился. — Давайте залезем, посмотрим.

Вот добрались мы до вышки, он полез впереди, я сзади. Вышка эта слегка качается, старая, но тем не менее мы залезли наверх. И оттуда такой вид открылся! Дальше за этим селением Атак уже не было никаких посёлков. Справа широкой лентой протекал Иртыш, кругом леса, огромная бескрайняя тайга, массивы елей, сосен. А впереди тут, за домом-интернатом, действительно какие-то заросшие поляны, столбики стоят. Он показывает: это кладбище заключённых. Потом мы спустились. И тут он как-то странно стал торопиться, быстро простился и побежал в интернат, в администрацию.

Я продолжал рисовать Валу — будто она в дом зашла с прогулки, двигается и ощупывает пространство рукой. Тут плетёный деревенский коврик, кошка сидит, испуганно смотрит. И только я закончил этот рисунок, как приходит

женщина из бухгалтерии и говорит: вас срочно вызывают в Омск. — Я удивился: кто меня вызывает? — Начальник, который дал вам сюда направление. — Я ей даже сперва не поверил. Спрашиваю: а по какой причине он вызывает? — Она отвечает: не знаю, оставьте вещи здесь, съездите. Потом вернётесь — никто ничего тут у вас не возьмёт.

Я так и сделал. Оставил свои рисунки, оставил рюкзак и налегке пошел. Шёл, шёл, потом на автобусе ехал, это больше двухсот километров до Омска. Приехал уже к концу дня. Захожу в кабинет. А этот начальник отдела здравоохранения Омска меня спрашивает: а какое вы имеете право интересоваться лагерями? — Я отвечаю: я и не интересовался. — Ну как это? Вот вы лазили на вышку, рассматривали оттуда лагерь. Для чего вам это нужно? А скажите — в селе Екатериновка... это ваша работа? — Я удивился: какая работа? — Ну, вот там человека избili. — Я прямо в ужасе: да вы что? Я даже не знаю, где эта Екатериновка. — Нет-нет, знаете что, вы заканчивайте тут работу и поезжайте в Москву. — Я пытаюсь его убедить: но я ещё хотел бы порисовать, я потом буду эти работы на выставке показывать. — Он говорит: не всё можно показывать, не всё. Вот вы в Таре рисовали инвалида, который пальцем грозит, он же совсем больной. — Я объясняю: он предупреждает, чтобы не было войны, может быть, он и стал совсем больным, потому что воевал и пережил всё это. — Ну, в общем, больше мы вам не разрешаем тут работать, остальное доделаете в мастерской (и так профессионально говорит,

будто сам художник). Давайте не будем обострять отношения. Уезжайте. – Я говорю: ладно, хорошо.

И мне пришлось снова возвращаться в Атак за вещами, сперва на автобусе, потом уже в сумерках шёл пешком. В общем, приехал, забрал свои вещи и потащился обратно. И едва-едва успел на последний автобус, он отходил уже чуть ли не в одиннадцать вечера. А в Омск приехал уже глубокой ночью.

Потом возвратился в Москву, очень довольный тем, что привёз новые рисунки. Я их складывал в стопочку, потому что никакой надежды на показ не было. И я уже как-то стал привыкать к такому постоянному рабочему ритму – рисовал на Валааме, потом в Бахчисарае работал, потом в Омске. И вдруг я подумал – надо мне как-то разнообразить свои рисунки, ведь в Великой Отечественной войне все народы участвовали, все нации, там не только русские воевали. Пошёл опять в отдел социального обеспечения, у них всё узнал, взял направление и собрался ехать в Армению, там порисовать инвалидов войны. Это сейчас появились разные государства, а тогда все жили в Союзе одной семьёй, существовала такая общность наций, что люди не боялись ехать в другую республику, где никого не знаешь, где нет знакомых. Но была такая советская песня:

Поедешь на север, поедешь на юг,
Везде тебя встретит товарищ и друг.

Будь честным и смелым в работе своей,
И всюду найдёшь ты друзей.

Вот и было примерно как в этой песне. И я, руководствуясь этими словами, так и поступал.

Приехал в Армению, в Ереван. Пошёл так же в отдел социального обеспечения, и мне говорят: есть два дома-интерната. Один находится в самом Ереване, в районе Ахтанак, а другой расположен на юге республики, в селении Нор-Харберд. Куда вы хотите поехать? – Я отвечаю: давайте сперва в Ахтанак, а потом поеду в Нор-Харберд. – Ну хорошо.

Я пошёл, посмотрел центральную площадь в Ереване, украшенную зданиями из розового камня (это, видимо, местный строительный камень у них), посмотрел на людей. Мне сказали, что в этот Ахтанак надо ехать на трамвае. Но я совершенно не знал нравов армян. Сажусь на трамвай и ищу мелочь. А тут стоит группа ребят, и вдруг один говорит: дорогой, не ищи ничего, мы за тебя уже заплатили, вот тебе билет (и дают мне билет). Я так на них смотрю, растерялся – что это за чудо такое, я их не просил за меня платить. И сам я никогда ни за кого не платил, и за меня никто не платил никогда. А они улыбаются: да-да, это твой билет, поезжай спокойно. Я очень удивился.

Но моё удивление было ещё больше, когда я приехал в Ахтанак. Я пошёл сначала к главному врачу (он же был администратором), объясняя: так и так, приехал рисовать. –

Он говорит: хорошо, мы вам дадим комнату, всё у вас будет нормально, не волнуйтесь. — Я опять: я хотел бы кушать у вас вместе с инвалидами, чтобы не отвлекаться и не искать столовую, я бы заплатил, как уже делал в других интернатах, где рисовал. — Он отвечает: хорошо, будете у нас кушать, но платить ничего не надо. — Я удивился: как? Вам же надо отчитываться? — Он улыбается: вы у нас дорогой гость, мы рады, что вы приехали, и ничего мы с вас не возьмём, даже не думайте. Кушайте, рисуйте, смотрите наши достопримечательности. Вот у нас тут Эчмиадзин недалеко, разные старинные монастыри, если хотите, мы вас на машине свозим. — Я отвечаю: да нет, я хочу поскорее начать работать. — Он говорит: ладно, сейчас вас отведут в вашу комнату, где вы отдохнёте.



Цветы ушедшему другу

Проводили меня, устроили. Наутро завтракать в столовую приглашают. На столах цветы, скатерти, культурно так. А после завтрака я пошёл искать по палатам инвалидов войны. Нашёл инвалида без ног (Хачик его звали), который сидел опёршись на свою маленькую колясочку. И я сразу же задумал его портрет с цветами в руках. (Потом я назвал этот рисунок «Цветы ушедшему другу».) Он сидит, фуражка у него на этой тележке, в руках цветы, сам он смотрит в сторону. Мне кажется, получился выразительный рисунок, осязаемый – колёса тележки, ремни, руки его... как-то с восторгом я его рисовал.

Потом смотрю – очень пожилая женщина там, горянка, на голове у неё серебряные денежки нанизаны ободком, а сама она закрыта широким платком. Я начал её рисовать. А к ней как раз приехал сын, он воевал, вся голова у него в глубоких рубцах. И он встал перед ней на колени, уткнулся в неё лицом, а она ему руки на голову положила. И я их двоих так нарисовал.

Это было удивительно, в каждом месте я узнавал что-то новое. Вот в этом доме-интернате я вдруг увидел станок, которым пилят камни. Привозят необработанные камни, из них нарезают бруски с ровными краями и складывают. Потом приезжает машина, забирает эти бруски, а больным платят деньги, это как бы их дополнительный заработок. Они

все большие мастера по камню. Ещё режут массивные кресты, которые называются качкары, они украшены разными завитками со всех сторон и надписями на армянском языке.

Умывался я там на улице. Первый раз я вышел и думаю – как же холодно, как же я буду умываться? Но ничего. Открыл кран, вода течёт, и я этой холодной, почти ледяной водой умылся. Потом зубы почистил – ничего, нормально.

В общем, сделал я эти рисунки и собрался уезжать. Ахтанак всё-таки был в городе, а теперь я поехал в селение Нор-Харберд. Приехал и сразу увидел человека без обеих рук, который там ходил и всем распоряжался. Пришёл он в столовую, рукава пиджака у него болтаются, но он и тут командует – то делайте, то делайте. Ну, я сразу к нему: можно я ваш портрет нарисую? – Он говорит: да, да, можно, можно. А когда я уже приготовился рисовать – его нет. Спрашиваю: а где он? – Мне отвечают: но он же бегаёт везде, он у нас завхоз. Потом он и сам извинялся, мол, некогда мне сидеть позировать. Оказывается, у него недавно умерла жена, и он задумал жениться на женщине, которая работала в этом доме-интернате врачом. И вот эта женщина – молодая, прекрасная, цветущая – согласилась выйти за инвалида войны, жить вместе с ним. И они уже куда-то поехали свадьбу играть. Действительно, как ему жить одному без обеих рук? Ему же надо помогать каждую секунду. Это же должна быть не женщина, а какая-то любящая мать, которая бы от себя совершенно отреклась и думала бы только о нём – как его напоить, как его

накормить – буквально ухаживала бы за ним, как за малым дитём.



Армянская мелодия

Я и расстроился слегка, но и порадовался за него. Думаю, кого же рисовать? И вдруг слышу звуки флейты. Я иду на эти звуки и вижу слепую женщину в длинном пальто, в платке, и руки у неё какие-то толстые, совершенно не музыкальные, и сама она слегка опухшая. Но она с упоением играет на самодельной дудочке, выводит красивейшую мелодию, арию из оперы «Ануш». Я был потрясён. Познакомился с ней. Говорю: постойте так, я вас нарисую. И вот она стояла и играла на этой дудочке. А я сделал рисунок и назвал его «Армянская мелодия». Я никогда не думал, что мелодии в Армении так красивы. Я воспитывался на классической музыке, на народной русской музыке, поэтому я совсем не знал творчества других народов, особенно южных. Но там я понял, что в глубине души любого народа, в глубинах чувств совершенно простых, не требующих многого от жизни, людей, прячется столько красоты, столько любви и нежности, что это просто... что-то необыкновенное.

Глава 50

1 февраля 2006 г.

Нор-Харберд. Армянский храм в скале. Остров Сахалин. Ноглики. Местные обычаи. «Книга о любви». Друг Полины. Преданный пёс. Художник-самородок. На волосок от гибели. Южно-Сахалинск. Корейцы. Грустная история любви.

Ночь двадцать девятая. Я хотел поближе познакомиться с этим прекрасным горным краем, где жил такой благожелательный и добрый народ. И говорю врачу: вы знаете, я хочу съездить в горы, там у вас есть старинный монастырь. – Он отвечает: да, есть, хотите я вас подвезу? – Да нет, говорю, зачем, я поеду на автобусе, но вы меня не ждите к ужину, возможно, я поздно вернусь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.